

**Даниэль Пеннак**  
**Как роман**

*Самокат для родителей –*

Даниэль Пеннак



# Как роман

самокат для родителей



Текст предоставлен правообладателем [http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7396100](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7396100)  
«Как роман»: Самокат; Москва; 2015  
ISBN 978-5-91759-366-1

## Аннотация

*«Если, как то и дело говорится, мой сын, моя дочь, молодежь не любит читать – не надо винить в этом ни телевизор, ни современность, ни школу». «Кого же? – спросите вы. – И главное, что же в этом случае делать?» В своей книге «Как роман» Даниэль Пеннак щедро делится методами столь же простыми, сколько и результативными. Педагог, Пеннак блестяще воплотил эти методы в школе и научил любви к чтению своих учеников. Писатель, он заставил читать и любить свои книги весь мир.*

*Для старшего школьного возраста.*

## Даниэль Пеннак Как роман

**Daniel Pennac**  
**Comme un roman**

*Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с согласия издательства.*

© Editions Gallimard, Paris, 1992

© Шаховская Н. Д., перевод, 2005

ООО «Издательский дом «Самокат», оформление, издание на русском языке, 2013

\* \* \*



\* \* \*

Даниэль Пеннак родился в 1944 году в семье военного инженера в городе Касабланка (Марокко, Северная Африка). Он много путешествовал вместе с отцом, получил педагогическое образование во Франции и с тех пор успешно совмещает работу учителя в «не очень простой школе» спального района Парижа с занятиями литературой. Его антипедагогическое эссе «Как роман» перевернуло все сложившиеся в современной системе образования представления о том, как нужно преподавать литературу, чтобы научить детей любить книги. Книги Даниэля Пеннака переведены на 26 языков и удостоены многочисленных литературных премий в разных странах мира.

*Франклину Ристу, читателю романов и читателю-романтику*

*Памяти моего отца и незабвенного Франка Влега*

*Убедительная просьба (умоляю!) не использовать эти страницы как орудие педагогической пытки.*

*Д. П.*

## I. Рождение алхимика

### 1

Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. Несовместимость, которую он разделяет с некоторыми другими: «любить»... «мечтать»...

Попробовать, конечно, можно. Пробуем? «Люби меня!» «Мечтай!» «Читай!» «Да читай же, паразит, кому сказано – читай!»

– Марш к себе и читай!

Результат?

Никакого.

Он уснул над книгой. Окно вдруг показалось ему выходом в какую-то заманчивую даль – туда-то он и упорхнул. Спасаясь от книги. Но спит он чутко: раскрытая книга по-прежнему лежит перед ним. Если мы украдкой заглянем в дверь, то увидим: он сидит за столом и прилежно читает. Даже если подкрасться совсем бесшумно, он услышит нас сквозь тонкую пелену дремоты.

– Ну как, нравится?

Он не ответит «нет», не совершит святотатства. Книга священна, как можно не любить читать? «Описания слишком длинные», – вот что он скажет.

Успокоенные, мы вернемся к телевизору. Возможно даже, его замечание вызовет оживленную дискуссию между нами и кем-то из наших...

– Описания кажутся ему слишком длинными. Что ж, его можно понять, мы живем в век аудио и видео, а в девятнадцатом веке писателям приходилось все подробно описывать...

– Ну и что? Все равно это не повод пропускать половину страниц!

...

Не надо напрягаться, он снова уснул.

### 2

Тем непостижимее для нас эта нелюбовь к чтению, если мы принадлежим к поколению, которому и семья, и все окружающие скорее старались не давать читать.

– Да хватит тебе читать, глаза сломаешь!

– Иди лучше погуляй, погода-то какая!

– Туши свет! Поздно уже!

Да, в те времена погода всегда была слишком хороша, чтобы читать, а ночи слишком темны.

Обратите внимание, что глагол «читать», пусть с частицей «не», уже тогда употреблялся в повелительном наклонении. В этом смысле прошедшее время не отличалось от настоящего. Чтение тогда было актом протеста. Мало того, что роман был открытием, к этому еще прибавлялся азарт неповиновения. Двойная роскошь! О, эти памятные часы краденого чтения под одеялом при свете карманного фонарика! Как спешила в эти ночные часы к своему Вронскому Анна Каренина! Как они любили друг друга и как это было прекрасно! Но они любили друг друга еще и наперекор запрету читать, и это было еще прекраснее! Любили наперекор отцу и матери, любили наперекор задачам по математике, наперекор уроку по литературе на завтра, наперекор уборке комнаты, любили друг друга вместо обеда, любили, не дождавшись десерта, отказывались ради своей любви от футбольного матча и похода за грибами... Они выбрали друг друга и предпочли всему на свете... Боже ты мой, вот это любовь, вот это роман!

И до чего же он был короткий.

## 3

Будем справедливы: мы не сразу додумались вменить ему чтение в обязанность. Поначалу единственной нашей целью было его удовольствие. Когда он родился, первое время мы пребывали в состоянии благодати. Зачарованность новой жизнью делала нас гениальными. Ради него мы обретали дар сказителей. С самого его пробуждения к языку мы рассказывали ему всякие истории. Прежде таких способностей мы за собой не знали. Нас вдохновляла его радость. Его восхищение нас подстегивало. Для него мы не скупилась на персонажей, нанизывали приключения, расставляли хитрые ловушки... Как старик Толкиен своим внукам, мы создали ему целую вселенную. На пограничье дня и ночи мы становились для него писателями.

Если мы таким талантом не обладали, если рассказывали ему чужие сказки, да и рассказывали не так уж складно – мямлили, с трудом подбирали слова, забывали имена, путались в эпизодах, приделывали к одной сказке конец другой – неважно!.. Даже если мы вообще ничего не рассказывали, просто читали вслух – мы все равно были его личным романистом, единственным в мире рассказчиком. Мы помогли ему надеть пижаму грез, прежде чем укрыться одеялом ночи. Мы были его Книгой.

Вспомните-ка эту близость, с которой, пожалуй, мало что могло сравниться.

Как мы любили нагнать на него страху – единственно ради удовольствия потом утешить его! И как он требовал от нас этого страха! Уже и тогда он видел насквозь все уловки, но хотел попереживать как следует. В общем, был настоящим читателем. Мы составляли с ним в те времена чудесную пару: он, читатель, – о, до чего искушенный! – и мы, книга, – о, до чего дружественная!

## 4

В сущности, он узнал от нас о книге все, когда сам еще не умел читать. Мы открыли ему бескрайний мир фантазий, приобщили к радости путешествий со скоростью мысли, одарили вездесущностью, освободили от неумолимого Хроноса-Времени, окунули в густонаселенное одиночество читателя... Истории, которые мы ему рассказывали, кишели братьями, сестрами, родственниками, идеальными двойниками, эскадрильями ангелов-хранителей, армиями друзей, которые брали на себя его горести, – а он защищал их в их битвах с людоедами тревожным биением своего сердца. Он тоже был их ангелом-хранителем: читателем. Без него не существовал их мир. Он без них оставался замурованным в толще своего. Так ему открылся парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом.

Из этих странствий он возвращался немым. Наступало утро, все брались за другие дела. По правде говоря, мы и не старались дознаться, что же он вынес из своих странствий. И он простодушно хранил свои тайны. Свой, как говорится, особый мир. Его личные отношения с Белоснежкой или с каким-то из семи гномов были той частной жизнью, о которой не принято рассказывать. Великое наслаждение читателя – вот такое молчание о прочитанном!

В сущности, он узнал от нас о книге всё.

Мы отменно разожгли его читательский аппетит.

До такой степени – вспомните-ка, вспомните! – что ему *не терпелось научиться читать* !

## 5

Ах, какими мы были педагогами, когда и думать не думали о педагогике!

## 6

И вот теперь он – подросток, сидит, закрыв дверь, в комнате за книгой, которую не читает. Все, что манит его прочь, наплывает между ним и раскрытыми страницами, затуманивая строки. Перед ним окно, за спиной – закрытая дверь. Страница 48. Он не решается сосчитать,

сколько часов добирался до этой сорок восьмой страницы. А в книжке их ровным счетом четыреста сорок шесть. Считай, пятьсот. 500 страниц! Хоть бы еще диалоги были. Ага, щаз-з! Сплошные черные строчки между узенькими полями, абзацы громоздятся один на другой, да изредка то там то сям – оазис диалога – тире, которое означает, что один персонаж что-то говорит другому. Но другой не отвечает. Опять монолит на двенадцать страниц! Двенадцать страниц сплошной печати! Не продохнуть! Ну нечем же дышать, блин! Блинский фикус!

Он ругается. Как это ни прискорбно – ругается. Распротакой-сякой долбаный кирпич! Страница сорок восемь... Если б он еще хоть помнил содержание предыдущих сорока семи! Он не осмеливается даже задаваться этим вопросом – который ему неминуемо зададут. Зимние сумерки сменяются темнотой. Из недр дома до него доносятся позывные программы новостей. Еще полчаса – и обед. Удивительно плотная это штука – книга. Не врубишься. Кстати, кажется, и горит она плохо. Даже огонь не может пробиться сквозь страницы. Кислорода не хватает. Вот какие заметки он делает на полях. И заметок этих бесчисленное множество. Книга – вещь плотная, неподъемная, крепко спрессованная, в общем, кирпич на голову. Страница сорок восемь или сто сорок восемь – какая разница? Картина не меняется. Он снова видит, как шевелятся губы учителя, произнося название книги. Слышит единодушный вопрос ребят:

– Сколько страниц?

– Триста, может, четыреста...

(Врет...)

Оглашение назначенного срока вызывает взрыв протестов:

– Через две недели? Четыреста (пятьсот!) страниц за две недели! Мы не успеем, месье. Нет, нам никак не успеть!

Месье в переговоры не вступает.

Книга – кирпич на голову; спрессованная вечность, материализовавшаяся скука. Вот что такое книга. «Книга». Только так он и пишет в своих сочинениях: книга, эта книга, в книге, о книге.

«В своей книге «Мысли» Паскаль говорит...»

Учитель может сколько угодно возражать красными чернилами против подобного определения, настаивая, что речь нужно вести о романе, или эссе, или сборнике новелл, или стихотворном цикле, что слово «книга» само по себе, будучи понятием всеобъемлющим, ничего не означает, что телефонный справочник – тоже книга, и словарь, и путеводитель, и альбом для марок, и гроссбух...

Все без толку, в следующем же сочинении то же слово сорвется с его пера: «В своей книге «Госпожа Бовари» Флобер говорит...»

Потому что с точки зрения его нынешнего одиночества книга – она и есть книга. И каждая вроде тома энциклопедии, того самого, в твердом переплете, какой раньше подкладывали ему под попу, чтобы поднять до уровня семейного застолья.

Каждая книга – груз и тянет его вниз. Вот только что он уселся за стол – легко уселся: это легкость принятого решения. А уже через несколько страниц почувствовал до боли знакомую тяжесть – тяжесть книги, невыносимый груз бесплодного усилия.

Веки тяжелеют, возвещая о неизбежности крушения.

Риф страницы 48 пробил течь под ватерлинией его решимости.

Книга тянет его ко дну.

И они тонут вместе.

## 7

Тем временем внизу, у голубого экрана, все хором ругают телевидение, обличая его развращающую роль.

– Глупость, пошлость, насилие, какую программу ни возьми... Прямо караул! Невозможно включить телевизор, чтоб не наткнуться...

– А японские мультфильмы... Вы видели японские мультфильмы?

– Дело не в программах... Само по себе телевидение... его доступность... пассивность телезрителя...

- Ну да, сел, включил...
- Знай щелкай пультом...
- С программы на программу...
- Ну хоть от рекламы избавляешься...

– Да и того нет! Они же гонят ее синхронно. Переключаешься с одного ролика, попадаешь на другой.

- А то и на тот же самый!

Молчание: мы на «территории согласия», озаренной ослепительными лучами нашего взрослого здравомыслия.

И тут кто-нибудь, *mezza voce*:

- А вот чтение – совсем другое дело, чтение – процесс активный: акт чтения...
- Это ты верно заметил, читать – это действие, «акт чтения», это точно...

– В то время как телевидение – да и кино, если подумать... в фильме все преподносится на блюдечке, никакого собственного усилия: все разжевано, вот тебе изображение, вот звук, декорации... соответствующее музыкальное сопровождение, на случай если кто не понял, что имеет в виду режиссер...

- Дверь скрипит, чтобы знали, что будет страшно...
- А при чтении все надо воображать... Чтение – акт перманентного творчества.

Опять молчание.

(На сей раз – знак согласия «перманентных творцов».)

И новая реплика:

– Меня, например, поражает, сколько в среднем часов ребенок проводит у телевизора и сколько у него часов литературы в школе. Мне тут довелось познакомиться со статистикой...

- Это, должно быть, нечто!

– Соотношение – один к шести, а то и к семи. Не считая часов, которые они проводят в кино. В среднем ребенок – я не о нашем говорю – проводит перед телевизором два часа в день – минимум! – а в выходные – от восьми до десяти часов. То есть в сумме – тридцать шесть часов против пяти часов литературы в неделю.

- Да уж, куда там школе...

Опять молчание.

Молчание непостижимых глубин.

## 8

В общем, много чего можно было бы сказать, объясняя отчуждение между ним и книгой.

Мы сказали *всё*.

Например, что не одно телевидение во всем виновато.

Что десятилетия, отделяющие поколение наших детей от нашего собственного читательского отрочества, – пропасть глубиной в целые века.

Что психологически мы чувствуем себя ближе к нашим детям, чем наши родители были к нам, но интеллектуально мы остались ближе к нашим родителям.

(Тут возникает дискуссия о терминах, уточняются понятия «психологически», «интеллектуально». Начинается поиск другого слова.)

- Может быть, эмоционально ближе?

– Эмоционально? Может быть. Эмоционально мы ближе к нашим детям, но реально – ближе к своим родителям, так?

– Да. Дело тут в «социальном факторе». Сейчас из-за наличия целого комплекса «социальных факторов» наши дети стали не только нашими, но и детьми своего времени, а мы были только детьми своих родителей.

–..?

– Ну да! Когда мы были подростками, мы жили в обществе, коммерчески и культурно рассчитанном только на взрослых. Нас в нем не учитывали. Одежда, еда, нормы поведения были для всех одни. Младший брат носил то, из чего вырос старший. Ели все одно и то же, в тот же час, за тем же столом, и по воскресеньям все вместе гуляли в парке. Телевизор

объединял семью, все смотрели один и тот же канал (кстати, не в пример более интересный, чем все нынешние). А что касается чтения, то наши родители заботились об одном: как бы кое-какие произведения не попали нам в руки, – и ставили их на полку повыше.

– А если вспомнить поколение наших дедов, так у тех все было еще проще: девочкам вообще запрещали читать.

– Так оно и было. Особенно романы: «пустые бредни, небылицы». Боялись, что помешает замужеству...

– А сейчас подростки – полноправные члены общества, оно их одевает, развлекает, угощает, удовлетворяет культурные запросы: «Макдоналдсы», джинсы, молодежная мода...

Мы устраивали вечеринки – они ходят по клубам, мы читали книги – они глушат себя кассетами... Мы любили пообщаться под «Битлов» – они замыкаются в аутизме плееров... А такое невероятное явление, как присвоенные подростками кварталы, целые городские районы, где они тусуются как хотят!

Как тут не вспомнить Бобур<sup>1</sup>!

Бобур...

Бредовый Бобур, варварский сумбур, Бобур-безнадзорность-наркотики-насилие... Бобур и черная дыра метро... «Центральный рынок», Чрево Парижа!

– Которое извергает безграмотные орды к подножию главной публичной библиотеки Франции!

Опять молчание... из самых что ни на есть красивых: ангел парадокса пролетел.

– Ваши дети туда ходят?

– Редко. Мы, к счастью, живем в пятнадцатом округе.

Молчание...

Молчание...

– Короче, они больше не читают.

– Увы.

– Слишком востребованы обществом.

– Да.

## 9

А если не телевидение и ложные ценности общества потребления – значит, засилье электроники; не игры, зомбирующие детей, – так школа: неправильно учат чтению, программы устарели, учителя малограмотны, помещения обветшали, библиотек не хватает.

Что там бишь еще?

Ах да, бюджет Министерства культуры... Слезы! И бесконечно малая величина, отведенная в этой микроскопической сумме Книге.

Как же вы хотите, чтобы в этих условиях мой сын, моя дочь, наши дети... как же вы хотите, чтобы молодежь читала?

– И вообще, французы читают все меньше и меньше...

– Да, так оно и есть.

## 10

Вот так мы судим и рядим, без усталости одолевая словами расплывающуюся действительность, а светносные мгновения молчания говорят больше, чем слова. Мы – бдительные, мы – информированные, нашему времени не обвести нас вокруг пальца. Целый мир в том, что мы говорим, и весь освещен тем, о чем умалчиваем. Мыслим мы трезво и здраво. Здравомыслие – наша страсть.

---

<sup>1</sup> Бобур (Центр Помпиду) – музей современного искусства и публичная библиотека. Ближайшая станция метро «Центральный рынок» – узловая станция, связывающая центр со спальными районами. Туда, как в Москве на Арбат, стекается молодежь.

Так откуда же тогда смутная печаль после разговоров? Полуночная немота в доме, оставшемся наедине с собой? Только ли из-за перспективы мыть посуду? Вряд ли... В нескольких кабельтовых отсюда наших друзей, остановившихся на красный свет, сковала та же самая немота, которая настигает едущие из гостей супружеские пары, едва развеется хмель здравомыслия. Немота похожа на горечь во рту после сильного опьянения, отход анестезии, медленное возвращение сознания; мы становимся сами собой – и со смутным недовольством не узнаем себя в том, что мы говорили. В наших собственных словах *нас не было*. Все остальное было, наши доводы были верными, и в этом смысле мы были правы – но там не было нас. Никакого сомнения: еще один вечер угроблен наркозом здравомыслия.

Вот оно как... думаешь, что возвращаешься к себе, а возвращаешься в себя.

Все, что мы только что говорили за столом, и близко не лежало с тем, что говорилось внутри нас. Мы говорили, что нужно читать, а сами были с ним, там, наверху, в комнате, где он заперся и не читает. Перечисляли причины, почему в наше время дети не читают, а сами искали способ пробиться сквозь стену-книгу, отгородившую нас от него. Мы говорили о книге, а думали только о нем.

О нем, чье появление за обедом не принесло нам облегчения: ввалился в столовую в последнюю секунду, ни «здрасьте», ни «извините», плюхнулся на стул всей тяжестью переходного возраста, не потрудился принять хоть какое-то участие в беседе и вскочил из-за стола, не дождавшись десерта:

– Извините, мне надо читать!

## 11

Утраченная близость...

Вот так лежишь, и не можешь уснуть, и думаешь, вспоминаешь – ведь этот вечерний ритуал чтения, когда он был маленьким, был сродни молитве. Каждый вечер в один и тот же час после дневной кутерьмы наступало затишье, непременная встреча, вопреки любым обстоятельствам, миг сосредоточенного молчания перед первым словом рассказа, голос, наконец-то наш, настоящий, литургия эпизодов... Да, вечернее чтение выполняло самое прекрасное предназначение молитвы – самое бескорыстное, наименее отвлеченное, чисто человеческое: оно освобождало от обид. Мы не калялись в грехах, не пытались обеспечить себе толику вечности, мы вместе причащались словом, получали отпущение и возвращались в единственный рай, который чего-то стоит: близость. Сами того не подозревая, мы открывали для себя едва ли не главное назначение сказки, и даже шире – назначение искусства: устанавливать перемирие в битве жизни.

Любовь выходила из этого обряда обновленной.

Все это давалось даром.

## 12

Даром. Именно так он и чувствовал. Подарок. Минута вне всех минут. Вопреки всему. Вечерняя сказка освобождала его от груза дня. Отдать швартовы! – и он отплывал с попутным ветром, ощущая несказанную легкость, а ветром был наш голос.

За путешествие с него не брали ни гроша, ничего не требовали взамен. Не было оно и наградой. (Ах, эти награды... как приходилось стараться, чтобы стать достойным награды!) В той стране все было даром.

Дар, единственная валюта искусства.

## 13

Так что же все-таки произошло? Куда девалась наша близость и откуда взялся он теперешний, уткнувшийся в книгу-стену, в то время как мы пытаемся его понять (то есть успокоить себя), обвиняя наш век и телевизор, который мы, быть может, забыли выключить?

Что же всему виной – телевизор?

Слишком «визуальный» двадцатый век? Слишком описательный девятнадцатый? А почему тогда заодно и не слишком рационалистический восемнадцатый, слишком классицистический семнадцатый, слишком возрожденческий шестнадцатый, слишком русский Пушкин, слишком мертвый Софокл? Как будто для разрыва отношений между человеком и книгой нужны века.

Достаточно нескольких лет.

Нескольких недель.

Минутного недоразумения.

В те времена, когда мы, сидя в ногах его кровати, рассказывали, какое платье было у Красной Шапочки, и перечисляли подробнейшим образом содержимое ее корзинки, не оставляя без внимания и дремучий лес, и уши бабушки, вдруг ставшие такими мохнатыми, и «дерни за веревочку – дверь откроется», – что-то я не помню, чтобы описания казались ему слишком длинными.

И прошли с тех пор не века. Просто текущие моменты, называемые «жизнью», мы сами превратили их в вечность, начав руководствоваться незыблемым принципом: «Надо читать».

## 14

Тут, как и во всем, жизнь дала о себе знать убыванием радости. Год вечерних сказок у детской кровати – прекрасно. Ну два. Три, в конце концов. Если посчитать, если по одной за вечер, будет тысяча девяносто пять сказок. 1095, ничего себе цифра! И еще. Ладно, четверть часа на сказку... Но ведь наступает кризис жанра. Что ж я буду сегодня рассказывать? Что бы такое ему почитать?

В обиход вошли муки творчества.

Поначалу он сам облегчал нам задачу. У него были предпочтения, он требовал от нас не какой-нибудь, а *той же самой* сказки.

– Еще! Еще про Мальчика-с-пальчик!

– Но, зайныка, есть же не только Мальчик-с-пальчик, есть же...

Мальчик-с-пальчик – и все тут.

Кто бы мог подумать, что мы еще пожалеем о тех счастливых временах, когда единственным обитателем его лесов был Мальчик-с-пальчик? Впору проклинать себя: зачем приучили к разнообразию, предоставили выбор.

– Нет, не эту, эту ты уже рассказывал!

Вопрос «что бы рассказать?» стал не то чтобы неотвязной, но все-таки заметной головной болью. Мы обещали себе: в ближайшую субботу заглянем в книжный магазин, пороемся в детской секции. В субботу утром решали, что сходим в книжный на будущей неделе. То, что оставалось для него священным предвкушением, для нас сделалось одной из домашних обязанностей. Мелкой, но она добавлялась к другим, более значительным. Мелкая не мелкая, а все же обязанность вместо удовольствия. Разве не должны мы были насторожиться? Нет, не насторожились.

Зато начали возмущаться и бунтовать.

– Почему я? А ты что же? Извини, но сегодня вечером рассказывать будешь ты!

– Ты же знаешь, у меня никакой фантазии...

При каждом удобном случае мы препоручали его другому голосу – дяди, кузины, гости, соседки – голосу, до сих пор не задействованному, которому рассказывать еще было в радость, но чужой голос частенько осекался от придирок дотошной публики:

– Волк не так говорил!

Мы пускались на недостойные хитрости. Не раз и не два нас подмывало обратить в разменную монету ценность, которой обладала для него вечерняя сказка.

– А ну прекрати, а то не будет тебе никакой сказки!

Угрозу мы редко приводили в исполнение. Одно дело – наорать, оставить без сладкого. Но отправить его спать, не рассказав сказку, значило бы погрузить его день в слишком уж беспросветную ночь. И еще мы бы расстались, так и не побыв вместе. Наказание, невыносимое и для него, и для нас.

Однако угроза нет-нет да звучала... Считанные разы, говорить не о чем... Что поделаешь, усталость, почти неосознанное искушение хоть раз употребить эту четверть часа на что-нибудь другое – что-то сделать по хозяйству, просто помолчать, наконец... почитать самим.

Сказитель в нас был на последнем издыхании, готовый передать факел кому угодно.

## 15

Школа подросла как раз вовремя.

Она взяла будущее в свои руки.

Читать, писать, считать...

Поначалу он горел истинным энтузиазмом.

Неужели палочки, крючочки, кружочки и хвостики складываются в буквы? Здорово! А буквы – в слоги, а слоги, один к одному, – в слова... Он прямо не мог опомниться. А некоторые слова оказались еще и знакомыми! Чудо, да и только! Слово «мама», например, м-а-м-а, хвостик, два крючочка, кружочек, крючочек, опять хвостик и два крючочка, еще один кружочек и крючочек, и получается «мама». Как не прийти в восторженное изумление?

Попробуем представить себе его школьный день. Он встал ни свет ни заря. Вышел из дому с мамой под осенний дождь со снегом (да, дождь со снегом, и свет едва сочится, как в запущенном аквариуме, – не будем скупиться на атмосферный драматизм) и двинулся в сторону школы, еще окутанный теплом своей постели, с привкусом какао во рту, крепко-крепко держась за мамину руку и шагая быстро-быстро, два шага на мамин один, с подпрыгивающим на спине ранцем, вот и ворота школы, торопливый поцелуй, асфальтированный двор, черные высокие каштаны, первые децибелы... Он жмет на крыльце или сразу включается в беготню, это уж когда как, а потом все они сидят за лилипутскими столиками тихо и неподвижно, каждый мускул у них напряжен от старания подчинить себе перо, скользящее по коридору с низким потолком – строке! Язык высунут, пальцы судорожно стиснуты, запястье деревенеет... Крючочки, палочки, хвостики, кружочки и опять крючочки... Он сейчас далеко, очень далеко от мамы, он сейчас один на всем свете, поглощенный особенным напряжением, которое называется *усилием*, а вокруг трудятся точно такие же одиночества с высунутыми языками... И вот шеренги первых букв... строчки «а»... строчки «м»... строчки «т» (вот уж неудобная буква – с перекладиной, но это еще цветочки по сравнению с двойным пируэтом «ф»...) Шаг за шагом трудности преодолеваются... И вот буквы, примагничиваясь друг к другу, складываются сами собой в слоги... строчки «ма»... строчки «па»... а слоги, в свою очередь...

Короче, в одно прекрасное утро – или, может быть, во второй половине дня, когда уши у него еще полны гомоном столовой, – он видит, как на белом листе, прямо тут, перед ним безмолвно расцветает слово: «мама».

Конечно, он уже его видел – на доске, например, и всякий раз узнавал, но тут, у него на глазах, написанное его собственной рукой...

Поначалу робко, неуверенно читает он по слогам: «ма-ма».

И вдруг:

– Мама!

Ликующий крик венчает и славит грандиознейшее интеллектуальное путешествие, непредставимое! – все равно что первый шаг по Луне – переход от беспредельного графического произвола к предельно насыщенному чувством знаку. Крючочки, кружочки, хвостики... и вдруг – мама! Оно перед ним, оно написано на бумаге, но проросло-то оно из него! И это не просто набор слогов, не просто слово, не просто понятие, не просто какая-то мама, это его мама: магическое пресуществление, говорящее бесконечно больше, чем самая похожая фотография, – а всего-то кружочки, крючочки... Но кружочки и крючочки внезапно – и навсегда! – перестали быть сами собой, перестали быть ничем и превратились в неповторимость голоса, запаха, рук, колен, в неисчислимость примет, в свое, родное, ничуть не похожее на значки, поставленные им на рельсы строк в четырех стенах класса...

Философский камень.

Ни больше ни меньше.

Он только что открыл философский камень.

## 16

Такое преобразование не проходит даром. Из такого путешествия человек не возвращается прежним. Во всяком чтении заложена, как бы ни была она подавлена, *радость от возможности читать*, и она сродни восторгу алхимика. Радость от возможности читать неистребима, ей не страшны никакие зрелища, даже телевизионные, даже идущие каждый день сплошной лавиной.

Однако если радость чтения потеряна (если, как то и дело говорят, мой сын, моя дочь, молодежь не любит читать), то затерялась она не так уж далеко.

Всего-то немного заблудилась.

Ничего не стоит ее вернуть.

Но надо еще знать, на каких дорогах ее искать, а для этого перечислим некоторые истины, никак не связанные с воздействием современности на молодежь. Истины, которые имеют отношение только к нам... К тем, кто «любит читать» и считает своим долгом заставить других разделить эту любовь.

## 17

Итак, не остыв еще от пережитого восторга, он приходит из школы гордый собой, даже, пожалуй, счастливый. Он демонстрирует чернильные пятна на пальцах, словно ордена. Паутина проб четырехцветной шариковой ручки – его почетное украшение.

Счастье пока еще перевешивает тяготы школьной жизни: несуразно долгие дни, строгость учительницы, гам и толкотню в столовой, завязки сердечных драм...

Он приходит домой, открывает ранец, хвастается своими достижениями, он воспроизводит волшебные слова (не «мама» – так «папа», или «кот», или «дом», или свое собственное имя...).

На улице он становится неутомимым эхом могучих рекламных посланий... РЕНО, САМАРИТЕН, ВОЛЬВИК, КАМАРГ – слова падают к нему с неба, их разноцветные слоги вспыхивают во рту. Ни одного моющего средства не пропустит этот охотник за криптограммами:

– «Чис-то Тайд» – что значит «чистотайд»?

Ибо пробил час вопросов о главном.

## 18

Что нас ослепило? Его энтузиазм? Уверенность, что ребенку достаточно радоваться словам, чтобы справиться с книгой? Или убеждение, что умение читать развивается само собой, как прямохождение или речь, – в сущности, еще один видовой признак? Как бы то ни было, тут-то мы и решили положить конец нашим вечерним чтениям.

Школа учит его читать, он этим загорелся – поворотный пункт в жизни, очередная ступень самостоятельности, как в свое время первые шаги: вот что мы сказали себе, да практически и не сказали, настолько дело казалось нам «естественным» – просто еще один этап бесперебойной биологической эволюции.

Теперь он был «большим», мог читать сам, мог один, без поддержки, идти по территории знаков...

И вернуть нам, наконец, наши четверть часа свободы.

В своей новоиспеченной гордости он не очень-то и противился. Он забирался под одеяло – раскрытый «Бабар» на коленях, складка отчаянной сосредоточенности между бровей: он читал.

Успокоенные этой пантомимой, мы выходили из комнаты, не понимая – или не желая себе признаться, – что ребенок сначала осваивает не действие, а внешнее проявление действия, и что если такая игра на публику и помогает научиться, то самое первое ее предназначение – угодить нам и заглушить этим свою неуверенность.

## 19

Нет, мы не забыли о своих родительских обязанностях, ничего подобного. Мы не забросили его, препоручив школе. Напротив, мы неусыпно следили, как идут у него дела. Учительница знала нас как родителей внимательных, не пропускающих ни одного собрания, «идущих на контакт».

Мы помогали ученику с домашними заданиями. И при первых же заминках в чтении, свидетельствующих о том, что он начинает выдыхаться, мы проявили твердость: он должен непременно прочитывать вслух положенную страницу в день и понимать смысл прочитанного.

Не всегда это было легко.

Родовые муки с каждым слогом.

В усилении сложить слово теряет его смысл.

Смысл фразы распадается на атомы слов.

Еще раз с самого начала.

Все заново.

Неустанно.

– Ну, так что ты сейчас прочел? *Про что* здесь говорится?

И это – в самое неподходящее время дня. То он только что из школы, то мы – только что с работы. То он на пределе усталости, то мы на исходе сил.

– Ты совсем не стараешься!

Раздражение, крик, демонстративный уход, хлопанье дверьми – или упрямое:

– Еще раз, с начала и до конца!

И он начинал еще раз, перевирая каждое слово дрожащими губами.

– И нечего мне тут комедию ломать!

Но его мука не была притворной. Настоящая мука, неконтролируемая, ею он высказывал нам свое горе – оно именно в том и состояло, что он больше ничего не контролировал, больше не справлялся с ролью так, чтоб мы остались довольны; а источником этого горя был не столько наш гнев, сколько скрываемая за ним тревога.

Ибо мы были встревожены.

Тревога очень скоро заставила нас сравнивать его с другими детьми его возраста.

И расспрашивать наших знакомых Имярек, у которых дочь, – нет-нет, никаких проблем со школой и читает, да, прямо запоем.

Может, он плохо слышит? Может, дислексик? Неужели школьная дезадаптация? А вдруг он умственно отсталый?

Всевозможные обследования: аудиограмма – нормальной не бывает. Диагноз логопедов – самый утешительный. Психологи не видят причин для беспокойства.

Тогда что же?

Лень?

Просто-напросто лень?

Нет, он двигался в своем ритме, вот и все, а этот ритм не обязательно тот же, что у кого-то другого. Не существует всегда равномерно поступательного движения жизни, есть ритм ученика-читателя. В этом ритме бывают свои ускорения и свои внезапные откаты, свои периоды ненасытности и долгие сиесты переваривания, свое стремление к успеху и свой страх не оправдать надежд...

Вот только мы – «педагоги» – мы-то ростовщики, не признающие отсрочек. Держатели Знания, мы ссужаем его под проценты. Должен поступать доход. И в срок! Иначе мы усомнимся уже в себе.

## 20

Если, как постоянно говорится, мой сын, моя дочь, молодежь не любит читать – и глагол выбран верно, именно *любовь* тут и ранена, – не надо винить телевизор, наше время, школу. Или все вместе, если угодно, но прежде зададим себе вот какой вопрос: что мы-то сделали с

*идеальным* читателем, каким был наш ребенок в те времена, когда сами мы были сразу и сказителем, и книгой?

Мы же предали его! Да еще как!

Когда-то мы составляли – он, сказка и мы – нераздельную Троицу, воссоединявшуюся каждый вечер; теперь он оставлен один на один с враждебной книгой.

Легкое течение нашей речи делало и его невесомым; теперь непроглядное кишение букв душит самую попытку предаться мечте.

Мы приобщили его к путешествиям со скоростью мысли; теперь он раздавлен тупостью усилия.

Мы одарили его вездесущностью – теперь он узник своей комнаты, класса, книги, строки, слова.

Куда же спрятались волшебные персонажи: братья, сестры, короли, королевы, все гонимые злодеями герои, которые избавляли его от груза бытия, призывая к себе на помощь? Возможно ли, чтобы они были как-то связаны с этими жестоко расплюснутыми следами чернил – буквами? Возможно ли, чтобы эти полубоги были так мелко искрошены и сведены к типографским значкам? Чтобы книга превратилась вот в этот предмет? Странная метаморфоза! Обратная магия. И он, и его герои вместе задыхаются в толще книги!

И не меньшая метаморфоза – ожесточение, с каким папа и мама, не хуже чем учительница, требуют, чтобы он высвободил замурованные грезы.

– Ну, так что же произошло с принцем? Говори, я жду!

И это – родители, которые, читая ему сказки, никогда, никогда не трудились выяснять, *понял* ли он, что Спящая Красавица уснула из-за того, что укололась веретеном, а Белоснежка – из-за того, что съела яблоко. (Кстати, ни с первого, ни со второго раза он по-настоящему и не *понял*. В сказках было столько чудес, столько красивых слов, и все его так волновало! Он сосредоточенно дожидался своего любимого места, повторял его про себя, когда до него доходило дело; а там уж проступали другие, более темные, где завязывались все тайны, но мало-помалу он *понимал* всё, абсолютно всё, и прекрасно знал, что Красавица спала из-за веретена, а Белоснежка – из-за яблока...)

– Отвечай: что произошло с принцем, когда отец выгнал его из замка?

Мы настаиваем, настаиваем. Господи боже, это ж в голове не укладывается – чтобы мальчишка не мог понять содержание каких-то пятнадцати строк! Пятнадцать строк, было бы о чем говорить!

Раньше мы ему читали – теперь мы за ним считаем.

– Раз так, сегодня никакого телевизора!

Так-так...

Да... Телевизор, возведенный в ранг награды, – а чтение, соответственно, низведенное в разряд повинностей... Наша находка, не чья-нибудь.

## 21

*«Чтение – воистину бич детства и почти единственное занятие, которое мы для него находим (...) Ребенку не слишком интересно совершенствовать инструмент, посредством которого его мучают; но если постараться, чтобы этот инструмент служил ему для получения удовольствия, он скоро и без вас им увлечется.*

*Придают большое значение поиску наилучших методик обучения, изобретают письменные столы особой конструкции, всевозможные таблицы, превращают комнату ребенка в типографскую мастерскую. (...) Как это жалко! Средство, куда более верное, чем все вышеупомянутые, и о котором всегда забывают, – это желание научиться. Дайте ребенку это желание, и можете оставить в покое ваши письменные столы (...); любая методика сгодится.*

*Живой интерес – вот великая движущая сила, единственная, которая ведет в правильном направлении и далеко.*

(...)

*Я бы добавил еще только одно, но это весьма важная максима: обычно всего вернее и быстрее добиваются того, чего вовсе не спешат добиться».*

Конечно, конечно, Руссо тут не должен бы иметь права голоса, Руссо, который выплеснул своих детей вместе с водой семейной жизни! (Дурацкий припев...)

И тем не менее... он пришелся кстати, чтоб напомнить нам, что взрослая одержимость «умением читать» не вчера родилась. Равно как идиотизм педагогических разработок, отбивающих желание научиться.

А еще (слышите, как хихикает ангел парадокса?) бывает, что плохой отец исповедует превосходные принципы обучения, а хороший педагог – отвратительные. Случается, никуда не денешься.

Но если Руссо для нас не авторитет, то вот, пожалуйста, Валери (Поль) – он-то не имел никаких дел с воспитательными домами – так вот, Валери, обращаясь к юным ученицам весьма строгой школы Почетного легиона в Сен-Дени с назидательной речью, преисполненной величайшего почтения к школьному образованию, вдруг говорит самое главное, что можно сказать о любви, о любви к книге:

*«Милые барышни, не со словаря и синтаксиса начинается для нас Литература. Вы просто вспомните, как Словесность входит в нашу жизнь. В самом нежном возрасте, едва перестают нам петь колыбельные, под которые младенец улыбается и засыпает, наступает эра сказок. Ребенок пьет их, как пил материнское молоко. Он требует продолжения и повторения чудес; он – публика неумолимая и совершенная. Одному Богу известно, сколько часов я потратил, насыщая волшебниками, чудимицами, пиратами и феями малышей, которые кричали «еще! еще!» своему изнемогающему отцу».*

## 22

*«Он – публика неумолимая и совершенная».*

Он изначально – хороший читатель, каким и останется, если окружающие взрослые поддержат его энтузиазм, вместо того чтобы доказывать себе свою состоятельность, поощрят его желание учиться, прежде чем вменяют ему в обязанность заучивать, будут сопутствовать ему в его усилиях, а не подкарауливать на повороте, согласятся жертвовать вечерами, вместо того чтобы стараться выиграть время, заставят заиграть настоящее, не потрясая угрозой будущего, не позволяя себе превратить в повинность то, что было удовольствием, будут поддерживать это удовольствие, пока он не воспримет его как долг, заложат в основание этого долга бескорыстие всякого приобщения к культуре и сами вновь найдут радость в этом бескорыстии.

## 23

А радость чтения совсем рядом. Вернуть ее легко. Нужно только не ждать, чтобы прошли годы. Достаточно дождаться вечера, войти, как бывало, к нему в комнату, сесть на кровать и возобновить наше общее чтение.

Читать.

Вслух.

Даром.

Его любимые сказки.

Стоит описать, что с ним будет происходить. Поначалу он ушам своим не поверит. Пуганая ворона боится сказок! Натянув одеяло до подбородка, он настороженно замрет, ожидая вопроса:

– Ну, что я сейчас прочел? Ты все понял?

Но мы не спрашиваем. Не спрашиваем ни о чем. Мы просто читаем. Даром. Мало-помалу он расслабляется (мы тоже). Постепенно к нему возвращается выражение мечтательной сосредоточенности, и мы узнаём его привычное вечернее лицо. А он узнаёт нас. По голосу, снова нашему. Наконец-то.

И, может быть, в первые же минуты он уснет, почувствовав такое облегчение...

На следующий вечер мы снова вместе. И читаем ту же сказку. Да, скорее всего, он попросит почитать ему ту же самую, желая удостовериться, что вчера ему не привиделся сон, и будет задавать те же вопросы в тех же местах – ради удовольствия услышать от нас те же ответы. Повторение успокаивает. Оно – свидетельство близости, само ее дыхание. Ему очень нужно вновь обрести это дыхание.

– Еще!

«Еще, еще...» по большому счету означает вот что: «Ведь, значит, мы с тобой любим друг друга, раз нам достаточно без конца перечитывать одну сказку!» Перечитывать не значит повторяться, это значит давать каждый раз новое доказательство неутомимой любви.

И мы перечитываем.

Его день остался позади. Вот мы здесь, наконец-то вместе, наконец-то по *ту сторону*. Вернулось таинство Троицы: он, книга и мы (в любом порядке, ибо в том и счастье, что невозможно расположить по порядку элементы этого сплава!)

И так – пока он не позволит себе высшее удовольствие читателя: пресыщение текстом, и не потребует перейти к другому.

Сколько же вечеров мы потратили, вновь отпирая двери воображения? Раз-два – и обчелся, вряд ли больше. Ну, допустим, еще несколько. Но игра стоила свеч. Он снова открыт любому повествованию.

Между тем в школе продолжается процесс обучения. В беспомощном бормотании его школьных чтений прогресса пока не наблюдается, но не будем паниковать, время работает на нас, с тех пор как мы перестали стараться его выиграть.

Прогресс, тот самый пресловутый «прогресс», обнаружится на другом поле, в самый неожиданный момент.

Как-нибудь вечером, пропустив строчку, мы вдруг услышим:

– Пропускаешь!

– А?

– Ты пропустил кусок!

– Да нет, что ты...

– Дай!

Он возьмет у нас книгу и победоносно ткнет пальцем в пропущенную строку. *Которую при этом прочтет вслух*.

Это первый знак.

За ним последуют другие. Он повадится перебивать нас:

– Как это пишется?

– Что?

– Доисторический.

– Дэ-о-и-эс...

– Дай посмотрю!

Не будем обольщаться: причиной его внезапной любознательности отчасти, конечно, является новоиспеченная страсть алхимика, но еще больше желание продлить посиделки.

(И продлим, продлим...)

В другой раз он заявит:

– Я буду читать с тобой!

И некоторое время, заглядывая нам через плечо, будет следить, какие строки мы читаем.

Или вдруг:

– Начну я!

И вперед, на приступ первого абзаца.

Тяжелый труд, он быстро выдыхается, все так... Ничего: покой вернулся, он читает без страха. И будет читать все лучше и лучше, охотней и охотней.

– Сегодня я тебе буду читать!

Разумеется, тот же абзац – преимущество повторения; потом другой – «любимое место», а там и целые тексты. Тексты, которые он знает почти наизусть, которые скорее узнаёт, чем читает, но все-таки читает, чтоб порадоваться узнаванию. Теперь уже недалек тот час, когда мы застанем его как-нибудь среди дня за «Сказками кота Мурлыки», вместе с Дельфиной и

Маринеттой он знакомится с обитателями фермы.

Несколько месяцев назад он не мог опомниться, прочитав слово «мама»; сегодня целая история выступает вся как есть из дождя слов. Он стал героем-читателем, тем, кому автор доверил освободить своих персонажей из вязи текста, для того чтобы они избавляли его от злобы дня.

Ну вот. Свершилось.

И если мы хотим в самом деле его порадовать, нам надо уснуть под его чтение.

## 24

*«Мальчику, углубившемуся вечером в захватывающую историю, не объяснишь, что ему нужно бросить ее на самом интересном месте и отправляться спать».*

Вот что сказал Кафка, маленький Франц, чей папа предпочел бы, чтобы ночами он не читал, а считал.

## II. Надо читать (догма)

## 25

Остается вопрос с «большим», который сидит там, наверху, у себя в комнате.

Его бы тоже помирить с книгами, он так в этом нуждается!

Дом опустел, родители легли, телевизор выключен, он снова один... один на один со страницей 48.

А завтра сдавать эту треклятую читательскую карточку...

Завтра...

Быстрый подсчет в уме:

$$446 - 48 = 398$$

Оприходовать за ночь триста девяносто восемь страниц!

Он храбро берется за дело. Страница подгоняет страницу. Слова «книги» так и пляшут между наушниками его плеера. Безрадостно пляшут. Ноги у них как свинцовые. Одно за другим они падают, как загнанные лошади. Даже соло ударника не в силах их воскресить. (А классный, кстати, ударник этот Кендалл!) Он продолжает читать, не оглядываясь на трупы слов. Слова испустили смысл, мир их буквам. Эта гекатомба не пугает его. Он читает, будто идет на врага. Долг – вот что им движет. Страница 62, страница 63.

Он читает.

Что же он читает?

Историю Эммы Бовари.

Историю девушки, которая слишком много читала.

*«В детстве она читала «Павла и Виргинию» и мечтала о бамбуковом домике, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе доброго братца, который рвал бы для нее красные плоды с огромных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней босиком по песку, неся в руках птичье гнездо»<sup>2</sup>.*

Лучше позвонить Тьерри или, может быть, Стефани, пусть даст ему завтра с утра карточку, он ее сдует по-быстрому перед уроком, и все шито-крыто, ничего, с них причитается.

*«Когда ей было тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Они остановились в квартале Сен-Жерве на постоялом дворе; за ужином им подали разрисованные тарелки со сценами из жизни мадемуазель*

<sup>2</sup> Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари», пер. А. Ромма.

*Лавальер. Исцарапанные ножами и вилками затейливые надписи прославляли религию, тонкость чувств и придворную пышность»<sup>3</sup>.*

Формулировка «за ужином им подали разрисованные тарелки...» вызывает у него усталую улыбку: «Накормили пустыми тарелками? Кушайте на здоровье байку про Лавальершу!» Он строит из себя умника. Ему кажется, что он посмеивается над тем, что его не касается. Ничего подобного, ирония угодила не в бровь, а в глаз. В том-то и дело, что их беды симметричны: для Эммы даже тарелка – книга, а для него книга – как пустая тарелка.

## 26

*А в это время в лицее* (курсив, как в бельгийских комиксах их отрочества) отец и мать рядышком:

– Вы знаете, мой сын... моя дочь... книги...

Словесник уже понял: означенный ученик «не любит читать».

– И что самое странное, ребенком он очень много читал... прямо запоем, правда ведь, дорогой, можно сказать, он читал запоем?

Дорогой кивает: запоем.

– Надо сказать, телевизор мы ему смотреть запретили!

(Типичный случай: запрет смотреть телевизор. Почему бы не решить задачу посредством устранения одного из условий? Очередная педагогическая находка!)

– Совершенно верно, никакого телевизора на протяжении учебного года, таков наш твердый принцип!

Никакого телевизора, зато фортепиано с пяти до шести, гитара с шести до семи, танцы в пятницу, дзюдо, теннис, фехтование в субботу, лыжи с первого снега, парусный спорт с первого тепла, керамика в дождливые дни, поездка в Англию, ритмика...

Ни малейшего шанса хоть четверть часа побыть наедине с собой.

Мечтам бой!

Скука не пройдет!

Прекрасная скука...

Медлительная скука...

Которая делает возможным всякое творчество.

– Мы все делаем для того, чтоб он никогда не скучал.

(Бедняга...)

– Мы стараемся... как бы сказать? Стараемся обеспечить ему всестороннее развитие...

– Главное – продуктивное, я, дорогая, сказал бы – продуктивное развитие.

– Будь это не так, мы бы не пришли...

– По математике у него оценки, к счастью, неплохие...

– Но вот литература...

О бедное, горестное, патетическое наше усилие – насилие над собственной гордыней – идти такими гражданами Кале с ключами от поражения, идти на поклон к учителю языка и литературы, – а он, учитель, слушает, он говорит «да-да» и надеется потешить себя иллюзией, хоть раз за свою долгую учительскую жизнь потешить себя маленькой, скромной иллюзией... но нет:

– Как вы думаете, он не останется на второй год из-за неуспеваемости по литературе?

## 27

Так мы и живем: он химичит с читательскими карточками, мы терзаемся призраком неуспеваемости, учитель литературы мается со своим униженным предметом... И да здравствует книга!

<sup>3</sup> Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари», пер. А. Ромма.

## 28

Очень быстро всякий учитель становится старым учителем. Не то чтобы эта профессия изнашивала больше других – нет... Но выслушивать столько родителей, говорящих о столько детей – и тем самым о самих себе, – выслушать столько жизнеописаний, узнать о столько разводах, семейных трудностях: детских болезнях, подростковой неуправляемости, обожаемых дочерях, с которыми теряется контакт; сколько оплаканных поражений, сколько громогласных преуспеваний, сколько мнений по столько вопросам и, в частности, о необходимости чтения – на этом сходятся все.

Догма.

Есть такие, кто никогда не читал и не видит в этом ничего зазорного, другим читать некогда, о чем они во всеуслышание сожалеют; есть такие, кто не читает романов, но читает «дельные» книги, или эссеистику, или научные труды, или биографии, или книги по истории; есть такие, кто читает что попало, есть такие, кто читает запоем, и глаза у них горят, есть такие, кто читает только классиков, месье, «потому что нет лучшего критика, чем время», и такие, что всю свою взрослую жизнь только и знают, что «перечитывают», и такие, что прочли последнюю вещь такого-то и самую последнюю другого как-его-там, потому что, согласитесь, месье, надо же быть в курсе...

Но все, все как один – за необходимость чтения.

Догма.

В том числе и тот, кто сегодня не читает, но лишь потому, уверяет он, что слишком много прочел вчера, а теперь годы учения у него позади и «жизнь удалась», в чем, разумеется, лишь его заслуга (он из тех, кто «никому ничем не обязан»), но он охотно признает, что книги, в которых сам он больше не нуждается, были ему очень полезны... «больше того, незаменимы, да-да, не-за-ме-ни-мы!»

– Надо вдолбить это парню как следует!

Догма.

## 29

Так вот, «парню» *это* уже вдолблено. Ни на миг он не берет догму под сомнение. Так, во всяком случае, явствует из его сочинений:

Тема: *Что вы думаете о наказе Гюстава Флобера его другу Луизе Колле: «Читайте, чтобы жить!».*

Парень согласен с Флобером, и парень, и его друзья, и подружки, все согласны: «Флобер был прав!» Полное единогласие тридцати пяти сочинений: читать надо, надо читать, чтобы жить, более того, именно чтение, безусловная необходимость чтения – и есть то, что отличает нас от животных, дикарей, тупых невежд, истеричных фанатиков, торжествующих диктаторов, ненасытных материалистов, – надо читать! Надо читать!

- Чтобы расширять кругозор.
- Чтобы учиться.
- Чтобы получать информацию.
- Чтобы знать, откуда мы появились.
- Чтобы знать, кто мы.
- Чтобы лучше понимать других.
- Чтобы знать, куда мы идем.
- Чтобы сохранить память о прошлом.
- Чтобы ориентироваться в настоящем.
- Чтобы перенимать опыт прошлых поколений.
- Чтобы не повторять глупости наших предков.
- Чтобы выиграть время.
- Чтобы укрыться от действительности.
- Чтобы искать смысл жизни.

- Чтобы понять основы нашей цивилизации.
- Чтобы утолять свою любознательность.
- Чтобы развлечься.
- Чтобы повышать культурный уровень.
- Чтобы общаться.
- Чтобы развивать свое критическое чутье.

И учитель знай одобряет на полях: *«верно, верно, хор., оч. хор., отл., совершенно верно, интересная мысль, правильно»* – и еле удерживается чтобы не восклицать: *«Еще! Еще!»* – он, который сам видел сегодня утром в коридоре лица, как «парень» торопливо перекачивал у Стефани читательскую карточку, он, который знает по опыту, что большинство цитат, встречающихся по ходу этих благонравных сочинений, взяты из соответствующего словаря, он, который с первого взгляда видит, что приведенные примеры (*приведите примеры из вашего личного опыта*) относятся к чужому читательскому опыту, он, у которого еще звенит в ушах от воплей, разразившихся, когда он задал прочесть очередной роман:

- Что? Четыреста страниц за две недели? Мы не успеем, месье, ни за что не успеем!
- У нас контрольная по математике!
- И доклад по экологии на той неделе!

И хотя ему прекрасно известно, какое место занимает телевидение в подростковой жизни Матье, Лейлы, Брижит, Камалы или Седрика, учитель опять-таки одобряет, одобряет всеми красными чернилами своей авторучки утверждения Седрика, Камалы, Брижит, Лейлы или Матье, что телек (*«никаких сокращений в тексте сочинения!»*) – это для книги Враг Номер Один, да и кино, если подумать, – ибо и то и другое предполагает пассивность восприятия, тогда как чтение есть сознательное действие. (*оч. хор.!*)

Тут, однако, учитель откладывает ручку и, глядя в потолок, как задумавшийся ученик, задает себе вопрос – о! только себе: разве при всем при том не врезались ему в память некоторые фильмы, как любимые книги? Сколько раз он «перечитывал» «Ночь охотника», «Амаркорд», «Манхэттен», «Комнату с видом», «Празднество Бабетты», «Фанни и Александр»? Зрительные образы казались ему носителями тайнства, особыми знаками. Разумеется, он не специалист, ничего не смыслит в синтаксисе кинематографа, не знаком с лексикой киноведов – это всего лишь мнение его глаз, но глаза говорят ему, что существуют зрительные образы, смысл которых неисчерпаем, их всякий раз переживаешь заново с тем же волнением, более того, есть и телевизионные образы, да-да: лицо старого доброго Башляра во время оно в «Чтении для всех»... Янкелевич в «Апострофах»... гол Папена в матче с «Миланом»...

Но часы тикают. Учитель возвращается к проверке тетрадей. (Кто измерит одиночество учителя, проверяющего тетради?) Еще несколько сочинений – и слова начинают плясать у него перед глазами. Аргументы все одни и те же. Его охватывает раздражение. Как затверженную молитву, талдычат его ученики: «Надо читать, надо читать!» Нескончаемая литания назидания: «Надо читать!» – когда каждая их фраза свидетельствует, что они никогда ничего не читают!

### 30

- Милый, ну что ты так заводишься? Ученики пишут то, чего вы от них ждете!
- А именно?
- Надо читать! Догма! Вряд ли ты ждал пачки сочинений во славу сожжения книг!
- Я жду, когда они вырубят свои плееры и действительно примутся читать!
- Ничего подобного! Ты ждешь от них правильных сочинений по тем романам, которые ты им задаешь, ждешь, чтобы они правильно трактовали стихи, которые ты выбираешь, чтобы на экзамене они тонко анализировали тексты по твоему списку, чтобы они со знанием дела «комментировали» или с умным видом «резюмировали» то, что сунет им под нос экзаменатор... Заметь, экзаменатор, ты, родители хотят вовсе не того, чтобы дети читали. Чтобы не читали, впрочем, тоже не хотят. Все хотят, чтобы дети успевали в школе, вот и все! А что касается остального, у всех хватает других забот. У Флобера тоже, кстати, их хватало! Если он отсылал Луизу к книжкам, то как раз для того, чтобы она его не донимала, чтобы дала спокойно поработать над Бовари и не преподнесла ему сюрпризом ребенка. Вот тебе и вся

правда, и ты прекрасно это знаешь. *«Читайте, чтобы жить»* под пером Флобера, когда он писал Луизе, на самом деле означало: *«Читайте, чтобы дать мне жить»!* Ты хоть это-то объяснил своим ученикам, а? Нет? А почему?

Она улыбается. Накрывает его руку своей.

– Смирись, милый: культ книги восходит к устной традиции. И ты – ее верховный жрец.

### 31

*«В государственном курсе обучения я не нашел ничего хоть сколько-нибудь вдохновляющего. Будь даже изучаемый материал увлекательнее, чем он был в действительности, угрюмый педантизм баварских учителей отвратил бы меня от самой интересной темы...*

*Все свои познания в области литературы я приобрел вне школы.*

(...)

*Голоса поэтов смешиваются в моей памяти с голосами тех, кто меня с ними познакомил: многие шедевры немецкой романтической школы я не могу перечитывать, не вспоминая при этом интонаций взволнованного и звенящего голоса Милейн. Сколько я себя помню, все время, пока мы были детьми и сами читали с трудом, у нее было заведено читать нам вслух.*

(...)

*А между тем еще самоабвеннее мы слушали спокойный голос Волшебника... Из писателей ему больше всего нравились русские. Он читал нам «Казаков» Толстого и странно инфантильные, упрощенно-дидактические притчи его позднего периода... Мы слушали повести Гоголя и даже одну вещь Достоевского – жутковатый фарс под названием «Смешная история».*

(...)

*Прекрасные вечерние часы в отцовском кабинете разжигали не только наше воображение, но и пытливость. Отведав колдовского очарования великой литературы, ее животворной силы, хотелось узнавать еще и еще – еще «смешные истории», еще исполненные мудрости притчи, еще сказки, которые не просто сказки, еще необычайные приключения. Так началось самостоятельное чтение».*

Слова Клауса Манна, сына Томаса, Волшебника, и Милейн, обладательницы взволнованного и звенящего голоса.

### 32

Угнетающее, однако, единодушие... Похоже, начиная с замечаний Руссо о преподавании чтения, включая впечатления Клауса Манна о баварской государственной программе изучения словесности (молодая жена учителя с ним совершенно согласна) и кончая стенаниями здесь и ныне учащихся, роль школы всегда и везде сводится к тому, чтобы обучить приемам, натаскать в комментировании и, уничтожив непосредственную радость чтения, затруднить доступ к книге. Похоже, на все века и для всех широт решено и подписано, что в школьной программе нет места удовольствию и что знание может быть лишь плодом сознательного страдания...

Разумеется, этому есть оправдания.

Аргументов более чем достаточно.

Обучение не может строиться на удовольствии, которое, по большому счету, есть нечто несерьезное, дармовое. Школа – фабрика необходимых знаний и неизбежно требует усилий. Преподаваемые предметы – орудия воспитания ответственности. А учителя – механизмы запуска этих орудий, и нельзя требовать от них, чтобы они проповедовали бескорыстную радость познания, когда всё в школьной жизни, всё без исключения: программы, оценки, экзамены, аттестации, ориентации – утверждает как конечную цель образования конкурентоспособность, поскольку образование подчинено в первую очередь рынку труда.

Если школьнику и попадается иной раз учитель, у которого хватает энтузиазма наслаждаться, к примеру, математикой, который преподает ее как чудесное искусство и заставляет полюбить, заражая своей любовью и радостью жизни, благодаря чему все усилия

превращаются в удовольствие, то это воля случая, а не заслуга Системы Образования.

Свойство живых – заставлять любить жизнь, пусть даже в форме уравнения второй степени, но живое никогда не значилось в школьной программе.

В школе – обязанности.

Жизнь где-то еще.

Читать учат в школе.

Любить читать...

### 33

Надо читать, надо читать...

А что, если вместо того, чтобы заставлять читать, учитель вдруг решит *поделиться* собственной радостью чтения?

Радостью чтения? А что это такое – радость чтения?

Вопрос и впрямь требующий оглянуться на себя!

И для начала признаться себе в одной истине, которая в корне противоречит догме: большую часть книг, сформировавших нашу личность, мы читали не во имя чего-то, а против чего-то. Мы читали (и читаем), словно бы защищаясь, не соглашаясь, бунтуя. И если выглядим дезертирами, если отгораживаемся от действительности «чарами» нашего чтения, то дезертируем мы в самосозидание, убегаем, чтобы заново родиться.

Всякое чтение – акт противостояния. Противостояния чему? Всем обстоятельствам. Всем.

- Социальным.
- Профессиональным.
- Психологическим.
- Сердечным.
- Климатическим.
- Семейным.
- Бытовым.
- Коллективным.
- Патологическим.
- Денежным.
- Идеологическим.
- Культурным.
- Или самокопательным.

Хорошо поставленное чтение спасает нас от всего, в том числе от самих себя.

И в довершение всего – мы читаем против смерти.

Кафка читал против меркантильных планов отца, Фланнери О'Коннор читала Достоевского против издевок матери («Идиот»? Это на тебя похоже – выписать книгу с таким названием!), Тибодэ читал Монтеня в окопах Вердена, Анри Мондор углублялся в своего Малларме в оккупированной Франции времен черного рынка, журналист Кауфман вновь и вновь перечитывал том «Войны и мира» в застенках Бейрута. А больной, о котором рассказывает Валери? Его оперировали без наркоза, и он *«находил некоторое облегчение или, скорее, новый запас сил, запас терпения, читая наизусть между пиками самой острой боли любимые стихи»*. И, конечно же, признание Монтестье – высказывание, педагогическое извращение которого дало такой урожай сочинений: *«Учение было для меня наилучшим средством против всех неприятностей в жизни; не было такого горя, которое не рассеял бы час чтения»*.

А если более буднично, то книга – убежище от перестука дождя, ослепительная тишина страницы в гуле метро, роман, пристроенный в ящике конторского стола, минутка чтения, выпавшая учителю, пока ученики «плавают», и украдкой читающий на задней парте ученик, который сдаст учителю чистый листок бумаги...

Легко ли преподавать Словесность, когда чтение так властно требует уединения и безмолвия!

Чтение помогает общаться? Очередная шутка толкователей! Мы молчим о том, что прочитали. Удовольствие от прочитанной книги мы чаще всего ревниво храним в тайне. То ли потому, что, на наш взгляд, это не предмет для обсуждения, то ли потому, что, прежде чем мы сможем сказать хоть слово о прочитанном, нам надо позволить времени проделать тонкую работу перегонки. Наше молчание – гарантия интимности. Книга прочитана, но мы все еще в ней. Одна лишь мимолетная мысль о ней открывает нам путь в убежище, куда можно скрыться. Она ограждает нас от Большого Мира. Она предоставляет нам наблюдательный пункт, расположенный очень высоко над пейзажем обстоятельств. Мы прочли ее – и молчим. Молчим, потому что прочли. Хорошенькое было бы дело, если б на каждом повороте нашего чтения на нас выскакивали из засады с вопросами: «Ну как? Нравится? Ты все понял? Изволь отчитаться!»

Иногда молчание наше продиктовано смирением. Не горделивым смирением великих аналитиков, но глубоко личным, одиноким, почти мучительным сознанием, что вот это чтение, этот автор только что, как говорится, «изменили мою жизнь»!

Бывает, недоумение потрясает до немоты: как же так? Неужели то, что меня перевернуло, никак не подействовало на мировой порядок? Как возможно, чтобы XX век стал тем, чем стал, после того как Достоевский написал «Бесов»? Откуда взялся Пол Пот и ему подобные, когда уже описан Петр Верховенский? А ужасы лагерей после того, как Чехов написал «Сахалин»? Кому открыл глаза безжалостный свет Кафки, в котором наши наихудшие очевидности обретали резкость, как на цинковых фотопластинах? И кто из живущих среди творившегося тогда кошмара слышал Вальтера Бенямина? И почему, когда все уже свершилось, весь мир не прочел «Род человеческий» Робера Антельма хотя бы ради того, чтоб освободить Христа Карло Леви, навечно остановившегося в Эболи?

Чтобы какие-то книги могли так перевернуть нам душу и при этом не помешали миру двигаться от плохого к худшему – тут есть от чего онеметь.

В общем, молчим...

Кроме фразеров культурной элиты.

Ох уж эти салонные беседы, когда никто никому ничего не имеет сказать и темой для разговора оказывается чтение. Книга как способ завести знакомство. Беззвучный вопль, упрямое бескорыстие – и все ради того, чтобы этот кретин клеил вон ту дуру: «Как, неужели вы не читали «Путешествие на край ночи»?»

Убивают и не за такое.

## 35

Нет, чтение не годится для поверхностного общения, оно – то, чем делятся. Но делятся далеко не сразу и с большим выбором.

Если бы мы подсчитали, сколькими великими читательскими впечатлениями мы обязаны Школе, Критике, всем средствам массовой информации, а сколькими, напротив, другу, возлюбленному, однокласснику, да и семье – если она не строит книги по ранжиру на образовательной полке, – результат ясно показал бы: лучшим, что мы прочли, мы обязаны чаще всего тому, кто нам дорог. И с тем, кто нам дорог, мы об этом и заговорим. Наверное, потому что привязанность, как и желание читать, означает предпочтение. Любить, в сущности, значит одарять своим предпочтением тех, кого мы предпочли. Обмен такими дарами делает обитаемой незримую цитадель нашей свободы. В нас живут книги и друзья.

Когда кто-то из близких дает нам почитать книгу, мы среди строк поначалу ищем его – его вкусы, причины, побудившие подсунуть нам именно эту книжку, какие-то знаки братства. Потом текст захватывает нас, и мы забываем того, кто нас в него окунул; вот она, сила чтения, – отметить даже такое обстоятельство!

Однако годы спустя случается, что упоминание о какой-то книге приводит нас на память человека, и заглавия вновь становятся лицами.

Будем справедливы, иногда возникает лицо не друга, а критика или учителя (но как

редко!).

Мне вспоминается Пьер Дюмайе, его взгляд, голос, паузы в «Чтении для всех», передаче моего детства, в нем было столько уважения к читателю, каким, благодаря ему, мне предстояло стать. Вспоминаю учителя в школе – страсть к книгам делала его терпеливым, и нам даже казалось, что он нас любит. Конечно же любит – или уважает – нас, своих учеников, раз дает нам читать самое для него дорогое!

### 36

Жан-Мари Жибаль в своей биографии поэта Жоржа Перроса передает слова одной из студенток из Ренна, где Перрос преподавал:

*«Он (Перрос) появлялся во вторник утром, встрепанный, прикатив на ржавом синем мотоцикле, надыхавшись ветром и холодом. Сутулый, в моряцком бушлате, с трубкой в зубах или в руке. Он вываливал на стол целую сумку книг. И был сама жизнь».*

Пятнадцать лет спустя она, все еще очаровательная и очарованная, не устает говорить о нем. Склонив улыбку над чашкой кофе, она задумывается, неспешно созывая воспоминания, и вот: «Да, сама жизнь: полтонны книжек, трубки, табак, номер «Франс Суар» или «Экип», ключи, записные книжки, квитанции, свечи зажигания... Из этой кучи он выуживал книгу, косился на нас, выпускал довольный смешок, от которого и у нас разгорался аппетит, и начинал читать. Читая, он расхаживал по классу, одна рука в кармане, другая, с книгой, протянута, будто, читая, он эту книгу нам дарил. Его чтение было подарком. Взамен он ничего не требовал. Когда кто-то из нас отвлекался, он на миг останавливался и, глядя на витающего в облаках, подсвистывал. Не укорял, весело звал вернуться. Он никогда не терял нас из виду. Даже углубившись в чтение, смотрел поверх строк на нас. Его голос, звучный, ясный, бархатистый, идеально заполнял пространство класса, а мог бы заполнить амфитеатр, театр, Марсово поле, и ни одно слово при этом бы не потерялось. Он инстинктивно чувствовал объем пространства и наших мозгов. Был естественным резонатором любого текста, воплощением книги, книгой в человеческом образе. Слушая его, мы вдруг понимали, что все это писали для нас. Неожиданное открытие после стольких лет занятий в школе, где изучение литературы удерживало нас на почтительном расстоянии от книг. Что же он делал такого, чего не делали другие учителя? Ничего. Можно даже сказать, что он делал гораздо меньше всех них. Вот только он не отмеривал нам литературу по капле аналитической пипеткой, а щедро подносил полной чашей... И мы понимали все, что он нам читал. Все слышали. Не было толкования текста более ясного, чем интонации его голоса, он осуществлял волю автора, выявлял подтекст, раскрывал намеки... исключал возможность понять что-нибудь превратно. Совершенно немислимо было, послушав в его чтении «Двойное непостоянство», продолжать нести чушь о «жеманстве Мариво» и рядить в розовое людей-кукол этого анатомического театра. В лабораторию, вот куда вводила нас точность его интонаций, на вивисекцию приглашала ясность его дикции. Он, однако, не пережимал, не делал из Мариво прихожую маркиза де Сада. И все равно все время, пока он читал, у нас было такое чувство, будто мы видим мозг Арлекина и мозг Сильвии в разрезе, как если бы мы сами были лаборантами этого опыта.

Он преподавал у нас всего один час в неделю. И этот час был подобием его сумки: хаос переезда. Когда в конце года мы с ним расстались, я подвела итог: Шекспир, Пруст, Кафка, Вьялатт, Стриндберг, Кьеркегор, Мольер, Беккет, Мариво, Валери, Гюисманс, Рильке, Батай, Грак, Ардле, Анри Тома, Сервантес, Лакло, Чоран, Чехов, Бютор... перечисляю как попало, может, кого и пропустила. За десять предыдущих лет я и десятой части всего этого не слыхивала!

Он говорил с нами обо всем, читал нам все, *потому что не предполагал, что у нас в голове библиотека*. Никаких иллюзий. Он принимал нас за тех, кем мы были, – за девственно невежественных юных бакалавров, которые заслуживают знаний. И никаких там культурных наследий, никаких невероятных надмирных тайн; у него тексты не с неба падали, он подбирал

их с земли и давал нам читать. Все было здесь, вокруг нас, все шумело жизнью. Помню, как мы увяли было в первый момент, когда он взялся за классиков – за тех, про кого учителя нам, между прочим, уже рассказывали, кого мы – редкий случай – воображали, что знаем: Лафонтен, Мольер... За какой-то час они лишились своего статуса школьных идолов и стали для нас чем-то личным и таинственным – иначе говоря, необходимым. Перрос воскрешал авторов. Встань и иди: от Аполлинера до Золя, от Брехта до Уайльда, все они заявлялись вдруг к нам в класс, совсем живые, словно только что из «Мишу» – такое было кафе напротив. Кафе, где он иногда давал нам второй раунд. Не затем, однако, чтоб разыграть эдакого свойского препода – это был не его стиль.

Он просто-напросто продолжал вести то, что называл своим «курсом неведения». С ним культура переставала быть государственной религией и стойка бара становилась кафедрой не хуже любой трибуны. Сами мы, слушая его, не испытывали желания приобщиться к некоей религии, стать послушниками знания. Нам хотелось читать, вот и все... После того как он умолкал, мы опустошали все библиотеки Ренна и Кемпера. И чем больше мы читали, тем сильнее, в самом деле, ощущали свое неведение, ощущали, что мы – одни на отмели нашего неведения, а перед нами море. Только с Перросом мы уже не боялись окунуться. Мы ныряли в книги, не тратя времени на поживание у берега. Я не знаю, многие ли из нас стали учителями... скорее всего, мало кто, и это, пожалуй, обидно, потому что он, как бы невзначай, оставил нам в наследство неслабое желание передавать. Но передавать вольно, на все четыре стороны. Он, которому было довольно-таки плевать на преподавание, мечтал, смеясь, о некоем бродячем университете:

– Так бы и шататься по всему свету... проведать Гёте в Веймаре, наорать на Господа Бога с папашей Кьеркегором, посмаковать «Белые ночи» на Невском проспекте...»

### 37

*«Чтение, как воскрешение Лазаря, отваливает могильную плиту слов».*  
Жорж Перрос, «Echancures».

### 38

Вот этот учитель не вдавливал знания, он дарил то, что знал. Был не столько преподавателем, сколько трубадуром из цеха жонглеров словом, тех, что кочевали по постоянным дворам дороги, ведущей в Сантьяго-де-Компостела, и рассказывали неграмотным паломникам героические жесты<sup>4</sup>.

Все должно иметь начало, и каждый год он созывал свое маленькое стадо к устным истокам романа. Его голос, как голос трубадуров, был обращен к публике, которая не умела читать. Он открывал ей глаза. Зажигал фонари. Выводил на дорогу книг, отправлял в бесконечное паломничество к неведомому, в странствие от человека к человеку.

«Главное, он читал нам вслух! И безоглядно верил в наше желание понять... Человек, читающий вслух, помогает нам добраться до книги. Он и вправду *дает* читать!»

### 39

А мы, начитанные и утверждающие, что пропагандируем любовь к чтению, – мы слишком часто предпочитаем самим себе комментаторов, толкователей, аналитиков, биографов, интерпретаторов текста, который, набожно засвидетельствовав его величие, делаем немым. Заточенное в крепость нашей эрудиции, слово книги уступает место нашему слову. Вместо того чтобы позволить мыслям текста говорить нашими устами, мы предпочитаем собственные

---

<sup>4</sup> Жесты, (песни жестов) – героический эпос, циклы поэм на исторические сюжеты, исполнявшиеся бродячими музыкантами-жонглерами (например, «Песнь о Роланде»).

мысли и сами говорим о тексте. Мы – не посланцы книги, мы присяжные стражи книжного храма и славим его чудеса словами, которые замыкают вход в него: «Надо читать! Надо читать!»

## 40

*Надо читать* : в этом призыве подросток улавливает нарушение логики. Какие бы блистательные доводы мы ни приводили... нарушение логики и ничего больше.

Те из наших учеников, кто открыл книгу без нашей помощи, будут и дальше читать, как читали. Наши самые яркие объяснения, как маяки, помогут самым любознательным из них ориентироваться в океане чтения.

Из тех, кто «не читает», самые сообразительные научатся, как мы, *говорить вокруг да около* : поднатореют в инфляционном искусстве комментирования (читаем десять строк, размазываем на десять страниц), в технике конспектирования (проглядываем четыреста страниц, сводим к пяти), в умненьком выуживании цитат из «кратких изложений» (брикетов замороженной культуры, которые продаются в каждом уважающем себя магазине); они научатся орудовать скальпелем построчного анализа и станут специалистами в хитроумном манипулировании «избранными отрывками», которое обеспечит им сначала степень бакалавра, потом лицензиата, а затем и место на кафедре... но не обязательно любовь к чтению.

Остаются прочие ученики.

Те, кто не читает, кого очень рано запугали требования всюду искать смысл.

Те, кто считает, что они глупые...

Что книги не для них...

Что их вопросы так и останутся без ответов...

А скоро не остается и вопросов.

## 41

Представим, что нам снится сон.

Мы присутствуем при конкурсном экзамене на право преподавания литературы, кандидатка проводит открытый урок.

Тема урока: «*Литературно-художественные особенности романа «Госпожа Бовари»*» .

Юная кандидатка сидит за пюпитром внизу, шесть членов жюри на возвышении. Для вящей торжественности допустим, что экзамен происходит в большой аудитории Сорбонны. Запах веков и освященного временем дерева. Глубокое безмолвие Науки.

Реденькая публика – родня, друзья рассеяны по ярусам амфитеатра, их сердца бьются в такт с испуганным сердцем девушки. Мы смотрим на все снизу вверх; девушка ниже всех, она раздавлена ужасом перед своим неизжитым невежеством.

Еле слышные поскрипывания, приглушенные покашливания: вечность, оставшаяся до экзамена.

Дрожащей рукой девушка раскладывает перед собой листки с записями; разворачивает партитуру своего научного соло: «*Литературно-художественные особенности романа «Госпожа Бовари»*» .

Председатель жюри (это ведь сон, так что пусть председатель у нас будет старик в темно-красной мантии с горностаевым воротником и в судейском парике, оттеняющем его гранитные морщины), так вот, председатель жюри наклоняется к своему соседу справа, отгибает край его парика и что-то шепчет на ухо. Помощник (он помоложе, румяный, в расцвете научных сил, но в такой же мантии и парике) важно кивает. Он передает сказанное своему соседу, а председатель шепчется с соседом слева. Согласные кивки распространяются в оба конца стола.

«*Литературно-художественные особенности романа «Госпожа Бовари»*» . Запутавшаяся в своих записях, впавшая в панику девушка не видит, как жюри встает из-за стола, не видит, как жюри спускается со сцены, не видит, как жюри подходит и обступает ее пюпитр. Она поднимает глаза, надеясь собраться с мыслями, и обнаруживает, что загнана в

клетку взглядов. Она бы испугалась, если б уже не боялась до смерти, что не знает своего урока. Во власти этого страха она разве что недоумевает: что им тут около меня понадобилось? И вновь зарывается в свои записи. «Литературно-худо...» Она потеряла план урока. А какой был четкий план! Куда она могла задевать план урока? Как она теперь ознакомит всех с перспективой своего показательного урока?

– Мадемуазель...

Девушка не допускает до себя голоса председателя. Она ищет, ищет план урока, затерявшийся среди гор накопленных ею познаний.

– Мадемуазель...

Она ищет и не может найти. «Литературно-художественные особенности романа «Госпожа Бовари»» ... Она ищет и находит все остальное, все, что знает. Но не план урока. Плана нет как нет.

– Мадемуазель, прошу вас...

Что это коснулось ее локтя, уж не рука ли председателя? (А с каких это пор председатели конкурсного жюри трогают за локоть кандидаток?) Что это, уж не детская ли мольба, столь неожиданная в этом голосе? С чего это экзаменаторы заерзали на стульях (потому что каждый принес с собой стул, и все расселись вокруг нее)... Девушка наконец поднимает глаза.

– Мадемуазель, прошу вас, плюньте на все эти литературно-художественные особенности...

Председатель и его экзаменаторы сняли парики. У них встрепанные ребячьи вихры, широко раскрытые глаза, полные жадного нетерпения.

– Мадемуазель... Расскажите нам «Госпожу Бовари»!

– Нет! Нет! Лучше расскажите ваш самый любимый роман!

– Да, «Балладу о невеселом кабачке»! Вы ведь любите Карсон Мак-Каллерс, мадемуазель, ну пожалуйста, «Балладу о невеселом кабачке»!

– Пожалуйста, мадемуазель, сделайте, чтоб нам захотелось перечитать «Принцессу Клевскую». Ладно?

– Сделайте, чтоб нам захотелось читать, мадемуазель!

– По-настоящему захотелось!

– Расскажите нам «Адольфа»!

– Кафку! Что-нибудь из «Дневника»!

– Свево! «Самопознание Дзено»!

– Почитайте нам «Рукопись, найденную в Сарагосе»!

– Книги, которые вам больше нравятся!

– «Фердидурке»!

– «Заговор дураков»!

– Да не смотрите вы на часы, времени еще полно!

– Ну пожалуйста...

– Расскажите!

– Мадемуазель...

– Почитайте нам...

– «Трех мушкетеров»!

– «Яблочную королеву»!

– «Жюля и Джим»!

– «Чарли и шоколадную фабрику»!

– «Принца Перевраля»!

– «Базиля»<sup>5</sup>!

### III. Дать им читать

<sup>5</sup> Здесь перечисляются самые разные и неожиданные книги – от почтенной классики до детских книжек-картинок.

Возьмем обычный класс, человек тридцать пять подростков. О, не тех, заботливо отобранных, которые без сучка без задоринки пройдут в величественные врата высших учебных заведений, – нет, остальных, тех, кого отчислили из лицеев центральных округов, потому что их оценки не давали надежд на степень бакалавра, ну то есть никаких надежд.

Начало учебного года.

Их выбросило сюда.

В эту вот школу.

Вот к этому учителю.

«Выбросило» – этим все сказано. Они выброшены на берег, между тем как их вчерашние одноклассники вышли в открытое море на борту лицеев-пакетботов, держащих путь к «блестящим карьерам». Обломки крушений, оставленные школьным отливом. Именно так они сами себя описывают в традиционных личных карточках, заполняемых в начале учебного года:

Фамилия, имя, дата рождения...

Другие сведения:

*«Мне совсем не дается математика»... «Учить языки мне неинтересно»... «Я не умею сосредоточиться»... «У меня не получается хорошо писать»... «В книгах слишком много слов» (sic! Да, sic!)... «Я ничего не понимаю в физике»... «По орфографии у меня всегда был ноль»... «История бы ладно, но я не запоминаю даты»... «Наверное, я недостаточно стараюсь»... «Я плохо понимаю»... «Я много пропустил»... «Мне хотелось бы рисовать, но я не одаренный»... «Мне это слишком трудно»... «У меня плохая память»... «Мне не хватает подготовки»... «Я не умею думать»... «Я не умею говорить»...*

Конченные люди...

Так они себя аттестуют.

Конченные, еще не начавшись.

Разумеется, они немного преувеличивают. Таков закон жанра. Личная карточка, так же как личный дневник, держится на самокритике: в ней инстинктивно очерняют себя. К тому же это ограждает от избытка требований. Школа их тоже кое-чему научила: свои удобства есть и у обделенности. Как спокойно ученику с постоянным ноле́м по математике или орфографии: отказавшись от успеха, он избавился и от тягот усилия. А признание, что в книгах «слишком много слов», может быть, – как знать? – избавит от чтения?..

Однако автопортреты, написанные подростками, не слишком схожи с оригиналами; читая их автобиографические телеграммы, плохой кинорежиссер вывел бы одно лицо – тупицу с низким лбом и квадратной челюстью.

Нет, они все разные, каждый выбрал что-то свое в нашем многоликом пестром времени: записной рокер – заклепки и казаки, поклонник высокой моды – «Берлингтон» и «Шевиньон»<sup>б</sup>, безлошадный байкер – не мотоцикл, так хоть косуху; у кого длинные волосы, у кого жесткий ежик – в зависимости от семейных вкусов... Вон та девочка утопает в отцовской рубашке, свисающей до продранных коленок джинсов, зато другая вся в черном, как сицилийская вдова («мне нет дела до этого мира»), а ее белокурая соседка метит, наоборот, на конкурс красоты: ухожена, разнаряжена, причесана, как с обложки глянцевого журнала.

Они вышли из возраста свинки и ветрянки и подцепляют теперь моды.

А высоченные-то какие – во всяком случае, большинство! – спокойно могли бы хлебать суп с головы учителя! А парни до чего дюжие! А девочки-то какие фигуристые!

Учителю кажется, что сам он в их возрасте был не таким оформившимся... помельче, похилее... послевоенный заморыш... на консервированном молоке плана Маршалла... он, учитель, переживал тогда период восстановления, как и вся Европа...

А они – воплощение результата.

Это цветущее здоровье, это соответствие моде создают впечатление взрослости, от

<sup>б</sup> Магазины молодежной моды.

которой впору и оробеть. Их прически, наряды, плееры, калькуляторы, манера общаться, самоуверенность наводят на мысль, что они, возможно, куда лучше «приспособлены» к современности, чем учитель. Больше о ней знают...

Что же они знают?

В том-то и загадка.

Нет ничего загадочнее, чем видимость взрослости.

Не будь наш учитель стреляным воробьем, он вполне мог бы почувствовать себя вытесненным из изъяснительного наклонения настоящего времени, отсталым, что ли... Только навидался он за двадцать лет преподавания и детей, и подростков... тысячи три, наверное, а то и больше... и всяких мод навидался, и как они проходят... и даже как возвращаются!

Единственное, что не меняется, так это содержание личных карточек. Стиль «упадок и разрушение» на всю катушку: я ленивый, я глупый, я ни на что не гожусь, я все перепробовал, но без толку, не тратьте на меня усилий, мое прошлое лишено будущего...

Короче, они себя не любят. И кричат об этом с убежденностью, совсем еще детской.

Они, по сути дела, оказались между двумя мирами. И с обоими потеряли контакт.

Мы, конечно же, «крутые», «продвинутые», мы «пофигисты» (и какие!), но школу мы «в гробу видали», ее требования нас «задолбали», мы «уже не маленькие», но всего-то и толку, что маемся в бесконечном ожидании, когда же станем взрослыми...

Мы хотели бы быть свободными, а чувствуем себя брошенными.

### 43

И само собой разумеется, они не любят читать. Слишком много слов в книгах. Страниц тоже. И вообще, слишком много книг.

Нет, читать они решительно не любят.

Тому свидетельство лес поднятых рук в ответ на вопрос учителя:

– Кто из вас не любит читать?

В этом квазиединодушии даже чувствуется некоторый вызов. Кое-кто рук не поднял (в том числе Сицилийская вдова), но это знак подчеркнутого безразличия к вопросу.

– Ну и хорошо, – говорит учитель, – раз вы не любите читать... я сам буду читать вам всякие книги.

И тут же, перейдя от слов к делу, открывает портфель и достает во-от такую книжицу, толстую, прямо-таки кубическую, нет, правда, жуть какую огромную, в глянцевой обложке. В общем, книгу так уж книгу...

– Готовы?

Они не верят своим глазам, не верят ушам. Этот псих собирается им *все это* прочесть? Да на это уйдут годы! Растерянность... Даже некоторая напряженность... Такого не бывает – чтоб учитель вздумал весь год читать. Или он отъявленный бездельник, или тут какой-то подвох. Больно хитрый, поймать нас хочет. А потом подай ему список новых слов, отчет о прочитанном...

Они переглядываются. Некоторые на всякий случай кладут перед собой листок и берут ручку.

– Нет-нет, записывать ничего не надо. Просто послушайте.

Тут возникает новая проблема – куда себя девать? Что происходит с телом в четырех стенах класса, если отнять у него алиби шариковой ручки и чистого листа? Что с собой делать в подобной ситуации?

– Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь...

(Скажет тоже! «Расслабьтесь...»)

Заклепкам-и-казакам не удастся совладать с любопытством:

– Вы собираетесь прочесть всю эту книгу? Вслух?

– Ты вряд ли что-нибудь услышишь, если я буду читать про себя...

Застенчивый смешок. Но юная Сицилийская вдова в такие игры не играет. Шепотом, достаточно громким, чтобы всем было слышно, она роняет:

– Мы уже не в том возрасте.

Предубеждение распространенное... В основном среди тех, кому никогда по-настоящему не дарили чтения. Другие-то знают, что для этого удовольствия возраста не существует.

– Если через десять минут ты убедишься, что это тебе не по возрасту, подними руку, и я найду тебе другое занятие. Договорились?

– А что за книга-то? – спрашивает «Берлингтон» с видом человека многоопытного и искушенного.

– Роман.

– А про чего?

– Трудно сказать, пока не прочтешь. Ладно, все слушают? Отставить разговоры. Приступим.

Они слушают... скептически, но слушают.

– Глава первая: *«В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами...»*<sup>7</sup>

#### 44

*«В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни – скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен – едкими щелочами, со скотобоев – выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов – луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король – он вонял, как хищный зверь, а королева – как старая коза, зимой и летом.»*

#### 45

Дорогой господин Зюскинд, спасибо вам! Ваши страницы источают аромат, который щекочет ноздри и нервы. Никогда у вашего «Парфюмера» не бывало читателей увлеченнее, чем эти тридцать пять подростков, столь не расположенных вас читать. Через десять минут, можете мне поверить, Сицилийская вдова сочла, что по возрасту вы ей очень подходите. Трогательно было смотреть, как она закусывала губу, боясь своим смехом заглушить вашу прозу. «Берлингтон» широко раскрыл глаза, будто это уши, и – «Тихо вы там! Заткнитесь, ну!» – едва кто-нибудь из его товарищей не выдерживал и прыскал. Где-то странице на тридцать второй, там, где вы сравниваете вашего Жана-Батиста Гренуя, оказавшегося на попечении у мадам Гайар, с клещом, затаившимся в засаде (помните? *«Одинокий клещ, сосредоточившись в себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и немой, и только вынюхивает, годами вынюхивает на расстоянии нескольких миль кровь проходящих мимо живых...»*), так вот, где-то на этих страницах, где мы впервые погружаемся во влажные глубины Жана-Батиста Гренуя, Заклепки-и-казаки уснул, уронив голову на руки. Уснул сладким сном, мирно посапывая. Нет-нет, не надо его будить, ведь так хорошо уснуть под колыбельную – это же самая первая из радостей чтения. Он снова стал маленьким, Заклепки-и-казаки, маленьким и доверчивым... и он ничуть не старше, когда, разбуженный звонком, восклицает:

– Блин, я все проспал! Что там было у мамы Гайар?

#### 46

<sup>7</sup> Патрик Зюскинд, «Парфюмер», пер. Э. Венгеровой.

И вам спасибо, господа Маркес, Кальвино, Стивенсон, Достоевский, Саки, Амаду, Гари, Фант, Даль, Роше, спасибо всем вам, живым и мертвым! Ни один из тридцати пяти противников чтения не стал дожидаться, пока учитель доберется до конца той или иной из ваших книг, он дочитал ее раньше. Зачем откладывать на неделю удовольствие, которое можно получить сегодня вечером?

– Этот Зюскинд, он кто?

– Он жив?

– А что еще он написал?

– «Парфюмер», он что, по-французски написан? Похоже, что по-французски.

(Спасибо, спасибо, господин Лортолари, спасибо, труженики и труженицы перевода, огненные языки Пятидесятницы, спасибо!)

Проходят недели, и...

– Ну, супер – «Хроники объявленной смерти»! А «Сто лет одиночества», месье, это про что?

– Ой, месье, Фант – это вообще! «Мой пес Глупыш» – правда, умора!

– А Ажар... ну, который Гари... «Жизнь впереди» – во класс!

– Ну Роальд Даль дает! Как у него тетка пристукнула своего чувака мороженым окороком, а потом скормила ментам улику, я прямо отпал!

Конечно, конечно, суждения еще незрелые, формулировки не отточены... но это придет... пусть читают... все придет.

– Месье, а смотрите, «Раздвоенный виконт», «Доктор Джекил и мистер Хайд», «Портрет Дориана Грея» – все книжки примерно про то же: добро, зло, двойник, совесть, искушение, всякие такие вещи, правда?

– Правда.

– А про Раскольникова можно сказать, что он романтический герой?

Вот видите... уже приходит.

## 47

Между тем никакого чуда не произошло. И заслуга учителя тут невелика. Просто радость чтения была совсем близко, задавленная у этих ребят давним, глубоко угнездившимся страхом: они боялись, что не поймут.

Они забыли, что такое книга, что она может дать. Забыли, что любой роман – это прежде всего *рассказанная история*. Не знали, что роман должен читаться как роман: утолить *в первую очередь* нашу жажду интересных историй.

Утоляя эту жажду, мы давно уже обратились к голубому экрану, который работает бесперебойно, как конвейер, нанизывая мультфильмы, сериалы и триллеры в нескончаемое ожерелье из взаимозаменяемых штампов, выдавая нам ежедневный паек фантазий. Мы забиваем ими голову, примерно так же, как набивают суррогатами брюхо: есть сытость, но нет питательности. Ничего не задерживается. После так же пусто, как до.

Читая вслух «Парфюмера», мы познакомились с Зюскиндом: история, да, занимательная история, смешная, причудливая, но и *голос* тоже – голос Зюскинда (позже в сочинениях они назовут это «стиль»). Да, история о чем-то, но *рассказанная кем-то*.

– Удивительное дело, месье, вот там, в начале: «...комнаты воняли... люди воняли, площади воняли, церкви воняли... король вонял...» А нам велят избегать повторов! А ведь получилось красиво, правда? Необычно и красиво, да?

Да. Наслаждение сюжетом дополняется обаянием стиля. Перевернув последнюю страницу, мы не остаемся в одиночестве – с нами эхо голоса. Голос Зюскинда – даже через двойной фильтр перевода и учительского голоса – совсем не похож на голос Маркеса – «с первых слов заметно!» – или Кальвино. И возникает удивительное ощущение: штамп говорит со всеми одинаково, а Зюскинд, Маркес, Кальвино, говоря каждый своим языком, обращаются именно ко мне, рассказывают свою историю только мне и никому другому – мне, Сицилийской вдове, мне, Безлошадному байкеру, мне, Заклепкам-и-казакам, мне, «Берлингтону», и я уже не путаю их голоса и выбираю тот, что мне больше нравится.

*«Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед.*

*Макондо был тогда небольшим поселком из двадцати глинобитных, с камышовыми кровлями домишек, стоявших на берегу реки, которая несла свои прозрачные воды по ложу из белых, гладких и огромных, как доисторические яйца, валунов»* <sup>8</sup>.

– Я ее наизусть помню, эту первую фразу «Ста лет одиночества»! И валуны, «как доисторические яйца»...

(Спасибо, господин Маркес, с вашей легкой руки повелась игра, которая продлится весь год: запоминать и коллекционировать начальные фразы или любимые пассажи из каждого понравившегося романа.)

– А у меня начало «Адольфа», помнишь, про робость: *«Я не знал, что мой отец был робок даже со своим сыном и что нередко после того, как он долго ожидал от меня каких-нибудь проявлений любви, проявлений, которым не позволяла выйти наружу его кажущаяся холодность, – он покидал меня со слезами на глазах и жаловался другим на то, что я не люблю его»* <sup>9</sup>. Прямо как мой отец со мной!

Они были замкнуты, зажаты перед закрытой книгой. Теперь они вольно плавают на ее развернувшихся страницах.

Ну да, голос учителя, конечно, помог примирению, он избавил их от усилий расшифровки, четко обрисовал ситуации, расставил декорации, облек плотью персонажей, выделил темы, оттенил нюансы, выполняя, насколько возможно, свою функцию фотографического проявителя.

Но очень скоро голос учителя становится помехой: одно удовольствие мешает другому, более утонченному.

– Когда вы нам читаете, месье, это, конечно, помогает, но потом я люблю побыть один на один с книгой...

Потому что голос учителя – история, доставшаяся даром, – помирил меня с письменностью и тем самым вернул мне вкус к моему тайному и безмолвному голосу алхимика, того самого, который каких-то десять лет назад был зачарован тем, что «мама» на бумаге – это самая настоящая живая мама.

Истинная радость от чтения и состоит в открытии этой необычайной личной связи: автор и я... Одиночество написанного взывает о воскрешении текста моим собственным немым одиноким голосом.

Учитель тут не более чем сваха. Настало время ему тихонечко, на цыпочках удалиться.

## 48

Кроме навязчивого страха не понять, есть еще одна фобия, которую надо преодолеть, чтобы вернуть школьному народцу вкус к чтению, – боязнь нескончаемости.

Время, которое уйдет на чтение книги, видится им угрожающей бесконечностью!

Когда учитель достал из своего портфеля «Парфюмера», они были в шоке, увидев перед собой айсберг! (Заметим, что учитель выбрал – и намеренно – фаянровское издание: крупный шрифт, большие поля, много воздуха на страницах – книга, на взгляд этих противников чтения, огромная и сулящая бесконечную пытку.)

И вот он принимается читать, и они видят, как айсберг тает буквально на глазах!

Время уже больше не время, минуты летят секундами, и сорок страниц прочитано, и час прошел как не бывало.

Скорость учителя – сорок страниц в час.

Значит, за десять часов 400 страниц. При пяти часах языка и литературы в неделю за триместр он может прочесть 2400 страниц! 7200 за учебный год! Семь романов по тысяче

<sup>8</sup> Габриэль Гарсия Маркес, «Сто лет одиночества», пер. М. Былинкиной.

<sup>9</sup> Бенжамен Констан, «Адольф», пер. Е. Андреевой.

страниц! Всего за каких-то пять часов в неделю!

Потрясающее открытие, которое меняет все! Книга, если разобраться, читается быстро: один-единственный час чтения в день, и за неделю я управлюсь с романом в 280 страниц! Я могу прочесть его и за три дня, если положу на чтение по два часа с небольшим! 280 страниц за три дня! Считаю, 560 за шесть будних дней. Когда книжка действительно «супер» – ««Унесенные ветром» правда супер, месье!» – и в воскресенье прихватишь четыре часа сверхурочно (почему бы и нет, по воскресеньям спальный район Заклепок-и-казаков беспробудно дрыхнет, а «Берлингтона» родители увозят за город, где скука смертная), вот у нас и еще 160 страниц: итого 720!

Или 540, если скорость у меня – тридцать в час, тоже вполне приемлемый результат.

Или 360, если я двигаюсь прогулочным шагом со скоростью двадцать в час.

– У меня триста шестьдесят в неделю! А у тебя?

Считайте страницы, ребятки, считайте... Писатели тоже считают. Видели бы вы их, когда они доходят до страницы 100! Сотая страница для писателя – мыс Горн!

На сотой странице он распивает сам с собой невидимую бутылочку, отплясывает скромную джигу, встряхивается, как рабочая лошадь, и – н-но! – ныряет обратно в чернильницу, чтобы приняться за страницу 101. (Рабочая лошадь, ныряющая в чернильницу... Мощный образ!)

Считайте, считайте страницы... Сначала дивишься и радуешься количеству прочитанных страниц, а потом... потом пугаешься, как мало их осталось до конца. Всего пятьдесят страниц! Вот увидите... Нет ничего сладостнее этой грусти: «Война и мир», два толстенных тома... и всего-то пятьдесят страниц осталось.

Растягиваешь их, растягиваешь, но ничего не поделаешь...

Наташа выходит за Пьера Безухова – и конец.

#### 49

Да, но у меня такой жесткий график, откуда взять этот час на чтение? У кого отнять? У друзей? Телека? Разъездов? Вечеров в кругу семьи? Уроков?

Где найти *время читать*?

Серьезная проблема.

Которая и не проблема вовсе.

Коль скоро встает вопрос, есть ли время читать, стало быть, нет на то желания. Потому что, если разобраться, *времени читать ни у кого никогда нет*. Нет у мелких, нет у подростков, нет у взрослых. Жизнь – постоянная помеха чтению.

– Читать? Я бы с радостью, но работа, но дети, но хозяйство, времени нет...

– Как я вам завидую, что у вас есть время читать!

А почему же вон та, которая работает, бежит по магазинам, растит детей, водит автомобиль, крутит любовь с тремя мужчинами, посещает дантиста, через неделю переезжает – почему она находит время читать, а вот этот благонаправный холостяк-рантье не находит?

Время читать – это всегда украденное время. (Как, впрочем, и время писать, время любить.)

У кого украденное?

Скажем, у обязанности жить.

В этом, несомненно, причина того, что метро – устойчивый символ упомянутой обязанности – являет собой величайший в мире читальный зал.

Время читать, как и время любить, расширяет время, состоящее из минут и часов.

Если бы любовь приходилось рассматривать с точки зрения распределения времени, кто бы на нее отважился? У кого есть время быть влюбленным? А между тем, кто-нибудь когда-нибудь видал влюбленного, у которого не нашлось бы времени любить?

У меня никогда не было времени читать, но ничто никогда не могло помешать мне дочитать полюбившийся роман.

Чтение никак не связано с регламентом жизни общества, оно, как и любовь, просто образ жизни.

Вопрос не в том, есть ли у меня время читать (время, которого, кстати, никто мне не даст), но в том, подарю я себе или нет счастье быть читателем.

Дискуссия, которой Заклепки-и-казаки подводит итог сокрушительным лозунгом:

– Время читать? Вот оно, у меня в кармане!

При виде книжки, которую он оттуда вынимает («Легенды осени» Джима Харрисона, 10 × 18), «Берлингтон» глубокомысленно кивает:

– Да... Когда выбираешь куртку, важно, чтоб карманы были подходящего формата!

## 50

Контрольные по литературе, зачеты по внеклассному чтению...

Большую толстую книгу фигурально называют *кирпичом*.

Уберите учет и контроль, и кирпич станет облаком.

## 51

Единственное условие этого примирения с чтением: ничего не требовать взамен. Совсем ничего. Не выстраивать вокруг книги никакой стены предварительных сведений. Не задавать ни единого вопроса. Ни малейшего задания. Не добавлять ни слова к словам прочитанных страниц. Никаких оценок, никаких объяснений лексики, никаких анализов текста, никаких биографических данных... Насторого запретить себе «говорить вокруг да около».

Чтение – подарок.

Читать и ждать.

Любознательность не вынуждают, ее пробуждают.

Читать, читать и довериться глазам, которые открываются, лицам, которые веселеют и проясняются, вопросу, который вот-вот сорвется и повлечет за собой следующий.

Если педагог во мне шокирован тем, что произведение «представлено вне контекста», убедить упомянутого педагога, что единственный контекст, с которым на данный момент надо считаться, – *контекст вот этого класса*.

Этот класс не конечный пункт, куда ведут дороги знания: он должен быть их отправной точкой.

Сейчас я читаю романы слушателям, *которые думают, что не любят читать*. Ничего путного им не преподавать, пока я не развею эту иллюзию, не сделаю свое дело посредника.

Раз примирившись с книгами, эти подростки сами, без принуждения, пройдут путем, который ведет от романа к его автору и от автора – к его эпохе, от прочитанной истории к ее многогранному смыслу.

Главное – быть наготове.

Во всеоружии ждать обвала вопросов.

– Стивенсон, он кто, англичанин?

– Шотландец.

– А когда он жил?

– Девятнадцатый век, при королеве Виктории.

– Она вроде очень долго царствовала...

– Шестьдесят четыре года: 1837–1901.

– Шестьдесят четыре!

– Когда родился Стивенсон, она тринадцать лет как царствовала, а умер он за семь лет до нее. Вот тебе сейчас пятнадцать – она восходит на трон, а к концу ее царствования тебе семьдесят девять. (Притом что в те времена средняя продолжительность жизни была лет тридцать.) И королева она была не сказать чтоб веселая.

– Вот почему Хайд родился из кошмара!

Реплику подает Сицилийская вдова. «Берлингтон» ошарашен:

– Ты-то откуда знаешь?

Вдова загадочно:

– Есть откуда...

И со скромной улыбкой:

– Я тебе больше могу сказать: это был веселый кошмар. Когда Стивенсон проснулся, он заперся в кабинете и за два дня написал первый вариант книжки. Жена его заставила все это сразу сжечь, уж больно классно он себя чувствовал в шкуре Хайда – грабить, насиловать, мочить кого ни попадя! Толстуха-королева этого бы не одобрила. Тогда он придумал Джекила.

## 52

Но читать вслух мало, надо еще рассказывать, раздаривать наши сокровища, раскладывая их на непросвещенном берегу. Слушайте, слушайте и смотрите, как это прекрасно – увлекательная история!

Нет лучшего способа пробудить читательский аппетит, чем подразнить запахом аппетитного чтения.

Про Жоржа Перроса очарованная студентка рассказывала еще вот что:

– Он не только читал. Он нам рассказывал! Он рассказывал нам «Дон Кихота»! «Госпожу Бовари»! Угощал огромными порциями умнейших толкований, но подавал их нам в виде историй. Санчо в его устах превращался в этакий бурдюк, налитый жизнью, а Рыцарь печального образа – в долговязый костяк, вооруженный душераздирающей убежденностью! Эмма в его устах была не только душой, отравленной «пылью старых библиотек», но и вместилищем невероятной энергии, и в голосе Перроса мы слышали Флобера, хохотавшего над всей этой Колласальной<sup>10</sup> несуразицей!

Дорогие библиотекарши, служительницы храма, какое счастье, что все заголовки мира разложены по ячейкам в вашей превосходно организованной памяти (как бы я находил дорогу без вас, я, чья память подобна заросшему пустырю?), какое чудо, что вы ориентируетесь во всех тематических разделах, представленных на окружающих вас стеллажах... Но как было бы хорошо, если б вы еще и рассказывали свои любимые книги посетителям, заблудившимся в лесу потенциальных чтений... Как было бы прекрасно, если б вы развернули в их честь свои лучшие читательские воспоминания! Станьте сказительницами, волшебницами – и книжки сами попрыгают с полок прямо в руки читателям.

Рассказать роман – так несложно. Трех слов иногда достаточно.

Воспоминание детства: лето, сиеста. Старший брат лежит ничком на кровати, подперев кулаком щеку, погружившись в толстенный покетбук. Младший, приставучий как муха:

– Что читаешь?

Старший: «Муссон».

Младший: Хорошая книжка?

Старший: Здоровская!

Младший: Про что?

Старший: Про одного чувака, в начале он пьет много виски, а в конце – много воды!

Большого мне не потребовалось, чтоб весь остаток лета пропитываться до костей «Муссоном» г-на Луиса Бромфилда, перехваченным у брата, который так его и не дочитал.

## 53

Все это очень мило, Зюскинд, Стивенсон, Маркес, Достоевский, Фант, Честер Хаймс, Лагерлёф, Кальвино, романы, прочитанные вперемешку и безвозмездно, книги, рассказанные своими словами, вольное пиршество чтения ради чтения... Но программа, о боже, Программа! Недели бегут, а к программе и не приступали. Ужас утекающего сквозь пальцы года, жуткое видение непройденной программы...

Без паники: программа будет надлежащим образом «обработана», как говорят о деревьях, плодоносящих соответственно стандарту.

<sup>10</sup> Флобер с своих писем иногда намеренно экстравагантно писал слово «enorme» (огромный, громадный): «henaorme».

Вопреки тому, что вообразил Заклепки-и-казаки, учитель не будет весь год читать. Увы! Увы! Зачем так скоро пробудилась радость безмолвного одинокого чтения? Едва начнет учитель читать вслух очередной роман, как все бегут в библиотеку, чтоб подарить себе возможность «читать дальше», не дожидаясь следующего урока. Едва расскажет два-три эпизода – «только не рассказывайте, чем там кончается, месье, конец не рассказывайте!» – как они проглатывают книжку, из которой эти эпизоды взяты.

(Единодушие, которым учитель, впрочем, не должен обольщаться. Нет-нет, не надо думать, что он одним взмахом волшебной палочки превратил в читателей все 100 % противников чтения. Да, сейчас, в начале года, читают все, страх преодолен, и все читают – на волне энтузиазма, в азарте соревнования. Может быть даже, читают отчасти для того, чтоб угодить ему, учителю... который, однако, не должен почивать на раскаленных углях... Ничто так быстро не остывает, как жар энтузиазма, он это хорошо знает по опыту! Но пока все единодушно читают – таков эффект коктейля, в каждом случае особого, благодаря которому проникшийся доверием класс ведет себя как единая личность, сохраняя при этом все свои тридцать пять индивидуальностей во всем их разнообразии. Это не значит, что, когда они станут взрослыми, каждый из этих ребят будет «любить читать». Другие радости, возможно, перевесят радость чтения. Бесспорно одно: в первые недели учебного года, с тех пор как акт чтения – пресловутый «акт чтения»! – больше никого не пугает, читают все, и многие очень быстро.)

Что же в них такого особенного, в этих книгах, что их так быстро прочитывают? Легко читаются? Что значит «легко читаются»? Легко читается «Сага о Йёсте Берлинге»? Легко читается «Преступление и наказание»? Легче, чем «Посторонний», чем «Красное и черное»? Нет, главное отличие этих книг в том, что они не входят в программу, качество неоценимое для юных однокашников Сицилийской вдовы, с ходу называющих «отстоем» любую книгу, избранную высшими инстанциями для их культурного развития. Бедная программа. Сама-то по себе программа явно тут ни при чем. (Рабле, Монтень, Лабрюйер, Монтескье, Верлен, Флобер, Камю – «отстой»? Ну, знаете ли...) «Отстоем» тексты, входящие в программу, делает только одно: страх. Страх не понять, страх неправильно ответить, страх перед соглядатаем, нависающим над текстом, страх перед языком как субстанцией, с которой непонятно, как обращаться; страх мутит строки, страх топит смысл в русле фразы.

«Берлингтон» и Байкер первые же и удивляются, услышав от учителя, что «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, книга, которой они сейчас упивались, составляет проклятие их ровесников-американцев по той единственной причине, что входит в их программу. Так что, возможно, в эту самую минуту в Техасе какой-нибудь тамошний Байкер тайком читает под партой «Госпожу Бовари», пока учитель вдалбливает ему Сэлинджера!

Тут (маленькая скобка) подает голос Сицилийская вдова:

– Чтоб техасец читал, месье, такого не бывает.

– Да ну? С чего ты взяла?

– Из «Далласа». Вы хоть раз видели кого-нибудь из персонажей «Далласа» с книгой в руках?

(Скобка закрывается.)

Короче, свободно паря в стихии чтения, путешествуя без паспорта по иностранным книгам (в основном по иностранным: все эти англичане, итальянцы, русские, американцы далеки от программы, что и составляет их особый шик), ученики, примирившиеся с книгами, *которые можно читать*, концентрическими кругами приближаются к книгам, *которые нужно прочесть*, и скоро ныряют в них как ни в чем не бывало по той простой причине, что «Принцесса Клевская» теперь для них «роман как роман», не хуже любого другого... (И даже лучше – это история любви, оберегаемой от любви, так странно близкая им, современным подросткам, которых мы слишком поторопились счесть необратимо развращенными обществом потребления.)

*Дорогая мадам де Лафайет,*

*в случае если Вас это интересует, я знаю один класс, считающийся «не склонным к литературе» и вообще «слабым», в котором ваша «Принцесса Клевская» возглавила «хит-парад» всего, что было прочитано за этот учебный год.*

Так что программа будет пройдена и вся техника отработана – сочинение, анализ текста (красивые графики, о, столь милые методистам!), развернутый комментарий, короткий пересказ, обсуждение, весь этот механизм будет наилучшим образом отлажен, чтобы в день экзамена вышестоящие инстанции убедились, что мы не просто читали ради развлечения, мы всё *поняли*, мы не поленились и совершили пресловутое «*умственное усилие*».

Вопрос (основной вопрос) – что же мы, в сущности, «поняли» – не лишен интереса. Поняли текст? Да-да, это само собой... но главное – поняли, что, как только мы примирились с чтением, как только текст перестал быть загадкой, вызывающей ступор, наши усилия уловить его смысл становятся удовольствием; что, когда преодолен страх «не понять», усилие и удовольствие начинают работать друг на друга: мое усилие обеспечивает мне большее удовольствие, а удовольствие понимать увлекает до опьянения в пламенное одиночество усилия.

И еще одну вещь мы поняли. Чуть-чуть посмеиваясь про себя, мы поняли, «как оно работает», поняли приемы и тонкости искусства «говорить вокруг да около», набивать себе цену на рынке экзаменов и конкурсов. К чему скрывать, это и есть одна из целей всей операции. В плане экзаменов и трудоустройства «понимать» означает понимать, чего от нас ждут. «Хорошо понятый текст» – это текст, умно преподнесенный. Дивиденды этой торговли и ловит юный кандидат в выражении лица экзаменатора, когда поглядывает на него исподтишка, преподнося ему тонкое – но не слишком, упаси Бог, смелое – толкование александрийского стиха, издавна признанного «сложным». («Он вроде бы доволен, будем продолжать в том же духе, это верный путь к зачету».)

С этой точки зрения литература как школьный предмет в идеале ориентирована столько же на стратегию, сколько на понимание текста. А «плохой ученик» – это зачастую (чаще, чем мы думаем) ребенок, трагически бесталанный в тактике. Вот только в своем постоянном страхе ответить не то, чего от него ждут, он скоро начинает путать школьный предмет с культурой вообще. Списанный в брак школой, он не замедлит счесть себя и парией чтения. Ему представляется, что «чтение» – акт по сути своей элитарный, и вот он всю жизнь лишает себя книг из-за того, что не умел говорить о них, когда его спрашивали.

Видимо, «понять» надо и еще кое-что.

## 54

Надо «понять», что книги писались не для того, чтобы мой сын, моя дочь, молодежь их комментировали, но для того, чтобы, *если душа лежит*, они их читали.

Наши знания, школьная успеваемость, карьера, положение в обществе – это одно. Наша личная жизнь читателя и общая культура – совсем другое. Увеличивать число бакалавров, лицензиатов, дипломированных специалистов – дело хорошее, кто спорит, общество в них нуждается... но насколько *насущнее* распахнуть для всех страницы всех книг.

С начала и до конца учебы школьникам и лицеистам вменяют в долг анализ и комментарий, и долг этот запугивает их до того, что большинство отказываются от книг. К тому же сейчас, в конце двадцатого века, комментирование вообще вошло в такую силу, что часто и сам предмет обсуждения теряется из виду. Этот отупляющий бубнеж называется у нас словом, потерявшим всякое значение: информация...

Рассказывать подросткам о том или ином произведении и заставлять их о нем говорить, возможно, очень *полезно*, но это не главное. Главное – произведение. Книга в их руках. И первое их право в деле чтения – право молчать.

## 55

В первые же дни учебного года я, случается, прошу своих учеников описать мне библиотеку. Не публичную библиотеку, а свою, домашнюю. Полку, куда ставят свои книги. И они описывают стену. Крепостную стену знаний, выстроенную по всем правилам, абсолютно непробиваемую, от которой все только отскакивает.

– А читатель? Опишите мне читателя.

– Настоящего?

– Ну да, если угодно, хотя я не очень понимаю, что вы подразумеваете под настоящим читателем.

Самые почтительные описывают Бога Отца собственной персоной, что-то вроде допотопного пустычника, весь век восседающего на горе книг, из которых он высасывал смысл, пока не постиг все, что только возможно, обо всем на свете. Другие набрасывают портрет аутиста, настолько поглощенного книгами, что в жизни он набивает шишки о каждый угол. Третьи характеризуют «настоящего читателя» от противного, перечисляя, чем он не является: он не спортивный, не живой, не прикольный, не интересуется ни «жратвой», ни «прикидами», ни «тачками», ни телеком, ни музыкой, ни тусовкой... И, наконец, находятся «стратеги», которые ваяют учителю академическую статую читателя, сознающего, сколь многое можно почерпнуть из книг для расширения своих познаний и выработки жизненной позиции. Некоторые используют смесь этих красок, но ни один, ни один из них не описывает себя, или кого-нибудь из своей семьи, или одного из бесчисленных читателей, которых видит каждый день в метро.

А когда я прошу их описать «книгу», класс замирает, видя перед собой не иначе как НЛЮ: таинственный объект, практически не поддающийся описанию ввиду пугающей простоты его формы и бесконечной множественности функций, некое «инородное тело», таящее в себе все возможности и все опасности, священный объект, благоговейно почитаемый, который в соответствии с ритуалом водружается на полки безупречных библиотек, где ему поклоняется некая секта посвященных с загадочными взорами.

Святой Грааль.

Что ж, ладно.

Попробуем немножко расшатать этот культ книги, который мы же вбили им в голову: опишем «реалистично», как мы обращаемся с нашими книгами – мы, те, кто любит читать.

## 56

Немного найдется предметов, пробуждающих такие собственнические чувства, как книга. Попав к нам в руки, книги становятся нашими рабами – рабами, поскольку они живые, но рабами, которых никому не придет в голову освободить, поскольку они бумажные. Соответственно и обращаются с ними хуже некуда – издержки слишком горячей любви или неудержимой злости. Вот возьму да загну страницу (о, какая это всякий раз боль – видеть загнутую страницу! «Но надо же мне знать, где я чита-а-а-ю!»), и кофейные круги от чашки на обложке, и оттиски бутербродов, и масляные прозрачно-солнечные пятна... и еще отпечатки пальцев на каждой странице: я уминаю табак в трубке, когда курю за чтением... Томик «Плеяды» жалко сохнет на батарее, после того как упал к тебе в ванну («к тебе в ванну, дорогая, а Свифт, между прочим, мой!»), и поля, исчерканные комментариями, слава богу, неразборчивыми, и абзацы, обведенные флюоресцентным маркером... А вон та книжка навсегда изувечена, провалявшись целую неделю раскрытой кверху корешком, зато другую для сохранности изуродовали безобразной суперобложкой из прозрачного пластика с радужным отливом... А кровать, заваленная книгами, раскинутыми крыльями, как мертвые птицы... А груда фолиантов, брошенных на чердаке на милость плесени... А бедные детские книжки, которые никто больше не читает, сосланные в загородный дом, куда никто больше не ездит... И те, другие, на набережных, выставленные на распродажу перекупщиками-работоторговцами...

Чего только не приходится терпеть от нас книгам... Но ранит нас только *чужое* варварство по отношению к ним.

Не так давно я видел – своими глазами видел, – как одна читательница вышвырнула толстенный роман в окно несущегося на большой скорости автомобиля: за то, что купила его за такие деньги, поверив таким компетентным критикам, а он ее так разочаровал. А дед писателя Тонино Бенаквиста, тот вообще *искурил* Платона! Военнопленный где-то в Албании, табачная труха, еще оставшаяся на дне кармана, экземпляр «Кратила» (поди узнай, откуда он там взялся!), спичка... и – пф-ф-ф! – новый способ вести диалог с Сократом... посредством дымовых сигналов.

И другая жертва той же войны, еще более трагическая: Альберто Моравиа и Эльза Моранте были вынуждены скрываться несколько месяцев в какой-то пастушьей хижине, с собой у них оказались только Библия и «Братья Карамазовы». И вот чудовищная дилемма: какой из двух монументов использовать в качестве туалетной бумаги? Выбор есть выбор, он всегда жесток. Сердце у них обливалось кровью, но они выбрали.

Нет, какие бы осанни ни провозглашались книгам, не родился еще человек, который помешал бы Пепе Карвалло, любимому герою испанца Мануэля Васкеса Монтальбана, каждый вечер разжигать камелек страницами своих любимых произведений.

Такова цена любви, плата за близость.

Как только та или иная книга дочитана нами, она уже наша, дети так и говорят: «Это *моя* книга...», она – неотъемлемая часть нашего «я». Несомненно, по этой-то причине мы так неохотно возвращаем книги, которые нам дали почитать. Речь идет не о краже (нет-нет, мы не воры, как можно...), а, скажем, о перемещении собственности или, вернее, переходе в другое состояние: то, что было чьим-то под взглядом этого кого-то, превращается в мое по мере того, как насыщает мой взгляд; и, право же, если я полюбил то, что прочел, мне довольно-таки трудно это «вернуть».

Я говорю сейчас только о том, как обращаемся с книгами мы, частные лица. Но профессионалы поступают не лучше. А обрежу-ка я страницы прямо в край полосы, чтоб моя карманная серия побыстрее окупилась (текст без полей с чахлым от недостатка воздуха шрифтом), а раздую-ка я этот коротенький роман, как воздушный шар, пусть читатель видит, что за свои деньги он имеет вещь (текст, развалившийся на фразы, пришибленные таким засильем белизны), а наклею-ка я опояску «спешите видеть», чтоб и расцветка, и огромный заголовок орала аж за сто метров: «Читай меня! Читай меня!» И отгрохаю-ка я «клубные» экземпляры на толстой бумаге в твердом переплете, хорошенько разбавленные иллюстрациями, и назову-ка я свое издание «люкс» на том основании, что кожзаменитель переплета раззолочен в пух и прах...

Продукт общества гиперпотребления, книга пестуется почти так же заботливо, как напичканные гормонами бройлеры, хоть и не так, как ядерная ракета. Кстати, сравнение с бройлерами, ускоренно выращенными на гормонах, не лишено оснований, если применить его к тем миллионам книжек «по случаю», которые неделя – и готовы, потому что в эту самую неделю королева сыграла в ящик или слетел президент.

Так что с этой точки зрения книга не больше и не меньше, чем предмет потребления, столь же бранный, как любой другой: если книга «не идет», она немедленно отправляется под нож и чаще всего умирает непрочитанной.

А что касается того, как сам Университет обходится с книгами, то интересно бы узнать, что думают об этом авторы. Вот что написала Фланнери О'Коннор, когда узнала, как гоняют студентов по ее произведениям:

*«Если преподаватели взяли теперь за правило подходить к литературному произведению как к научно-исследовательской задаче, для которой хороши любой ответ, лишь бы он не был очевидным, боюсь, студенты никогда не откроют для себя удовольствие просто читать роман...»*

## 57

Это к вопросу о книге.

Перейдем к читателю.

Потому что знать, *как мы читаем*, еще существеннее, чем знать, как мы обращаемся с книгами.

По части чтения мы, читатели, признаем за собой все права, начиная с тех, в которых отказываем юному поколению, полагая, что приобщаем его к чтению.

- 1) Право не читать.
- 2) Право перескакивать.
- 3) Право не дочитывать.
- 4) Право перечитывать.

- 5) Право читать что попало.
- 6) Право на боваризм.
- 7) Право читать где попало.
- 8) Право читать вслух.
- 9) Право втыкаться.
- 10) Право молчать о прочитанном.

Я произвольно остановился на цифре десять, во-первых, потому что это круглое число, а еще потому, что это священное число небезызвестных Заповедей, и приятно хоть раз употребить его для списка разрешений.

Потому что, если мы хотим, чтобы мой сын, чтобы моя дочь, чтобы молодежь читала, первым делом надо предоставить им все права, которыми мы сами пользуемся.

## IV. Читаем (неотъемлемые права читателя)

### 1. Право не читать

Как всякий уважающий себя перечень прав, перечень прав читателя должен начинаться с права этими правами не пользоваться – соответственно, с права не читать. Иначе это будет не декларация прав, а коварная ловушка.

Начнем с того, что большинство читателей своим правом не читать пользуются каждый день. Не в обиду нам будь сказано, если приходится выбирать между хорошей книжкой или дурацким телефильмом, мы предпочитаем последний много чаще, чем нам хотелось бы в этом признаться. Ну и потом, читаем мы не постоянно. Периоды чтения чередуются у нас с довольно долгими периодами воздержания, когда один только вид книги вызывает симптомы несварения.

Но главное не это.

Рядом с нами, вокруг нас довольно много людей, достойных всяческого уважения, кое-кто из них с высшим образованием, бывают и «видные деятели» – у некоторых даже имеется превосходная библиотека, – но они не читают или читают так мало, что никому и в голову не придет подарить им книгу. Не читают. То ли у них нет такой потребности, то ли они слишком заняты чем-то другим (что, по сути, сводится к тому же самому: это «что-то другое» полностью удовлетворяет их или застит им все на свете), то ли они поглощены какой-то другой любовью и только ею и живут. Словом, эти люди *не любят читать*. Что не мешает нам с ними общаться, я имею в виду, общаться с удовольствием. (Они по крайней мере не спрашивают всякий раз, что мы сейчас читаем и как нам эта книжка нравится, обходятся без иронических выпадов в адрес нашего любимого автора и не считают нас умственно неполноценными за то, что мы не кидаемся на новое творение Такого-то, только что выпущенное в свет издательством «Футынуты» и заслужившее самые хвалебные отзывы критика Как-его-там.) Они такие же люди, как мы, принимают так же близко к сердцу несчастья этого мира, пекутся о «правах Человека» и следят за их соблюдением там, где это зависит от них, что уже немало, – но вот читать не читают. Что ж, вольному воля.

Мысль, что чтение «воспитывает в человеке человечность», в общем и целом справедлива, несмотря на некоторые досадные исключения. Безусловно, когда читаешь Чехова, становишься немного «человечнее», иначе говоря солидарнее с родом людским, становишься менее «диким», чем прежде.

Но остережемся выводить из этой теоремы следствие, согласно которому всякого, кто не читает, надо считать потенциальным мракобесом или безнадежным идиотом. Иначе мы возведем чтение в ранг *нравственного долга* и сделаем первый шаг к тому, чтобы судить, к примеру, и о «нравственности» самих книг, попирая еще одну неотъемлемую свободу: свободу творчества. Тут уж мракобесами окажемся мы, будь мы хоть сто раз «читателями». А, видит Бог, такого рода мракобесов в мире и так хватает.

Иными словами, *свобода творчества не может уживаться с обязанностью читать*.

Обязанность же учить состоит в том, чтобы, научив детей читать, приобщив их к литературе, дать им возможность свободно решать, есть у них или нет «потребность в книгах».

Нетрудно примириться с тем, что какой-то конкретный человек отвергает чтение, но недопустимо, чтобы он был – или считал себя – отвергнутым чтением.

Неимоверно грустно – одиночество умножается на одиночество – быть отлученным от книг, в том числе и от тех, без которых прекрасно обходишься.

## 2. Право перескакивать

Первый раз я прочел «Войну и мир» лет в двенадцать-тринадцать (скорее, в тринадцать, я учился тогда в пятом классе и сверстников не обгонял). С первых дней каникул – больших, летних – я видел своего брата (того, что читал «Муссон») не иначе как уткнувшимся в толстенный роман, и взгляд у него был нездешний, как у путешественника, давно забывшего и думать о родной земле.

– Что, так здорово?

– Не то слово!

– А про что?

– Про одну девушку, она любила одного, а вышла за третьего.

Брат всегда был мастером по части краткого пересказа. Если бы издатели поручали ему составлять аннотации (зазывные тексты на обороте обложки), он избавил бы нас от изрядного количества пустой трепотни.

– Дашь почитать?

– На. Дарю.

Учился я в пансионе, и такому подарку цены не было. Два толстенных тома, которых хватит, чтобы скрасить мне целый семестр. Брат, на пять лет меня старше, дураком не был (да и впоследствии не стал), он прекрасно знал, что «Войну и мир» нельзя свести к одной только любовной фабуле, как бы она ни была увлекательна. Но он знал мое пристрастие к сердечным драмам и умел щекотать любопытство загадочными формулировками сжатых изложений (настоящий «педагог», по моему твердому убеждению). Я всерьез думаю, что именно арифметическая загадка побудила меня изменить на время «Зеленой библиотеке», и розовой, и золотой, и разным там «Следопытам» – и нырнуть в этот роман. «Любила одного, а вышла за *третьего...*» – право, не представляю, кто мог бы устоять. И роман меня не разочаровал, хотя в счете брат ошибся. На самом деле Наташу любили четверо: князь Андрей, подонок Анатолий (но разве это можно назвать любовью?), Пьер Безухов и я. Поскольку у меня ни единого шанса не было, пришлось отождествлять себя с другими. (Только не с Анатолием, вот уж мерзавец!)

Чтение тем более упоительное, что наслаждался я им по ночам, при свете карманного фонарика, под одеялом-палаткой, посреди дортуара на пятьдесят мирно спящих, храпящих или ворочающихся персон.

Каморка надзирателя, где теплился ночник, была совсем рядом, но что с того, в любви всегда рискуешь всем. Я до сих пор ощущаю в руках толщину и тяжесть этих томов. Издание было карманное, с хорошенькой Одри Хепберн, на которую Мел Феррер устремлял княжеский взгляд из-под тяжелых век влюбленного хищника. Я перескочил добрых три четверти книги, поскольку интересовали меня только сердечные дела Наташи. Мне все-таки стало жалко Анатолия, когда ему ампутировали ногу; я проклинал этого упертого князя Андрея, когда он остался стоять перед гранатой во время Бородинской битвы... («Да ложись же ты, ложись, сейчас как рванет, что ж ты с ней делаешь, она ведь тебя любит!») Я читал про любовь и про сражения и перескакивал все, что про политику и стратегию... Теории Клаузевица мне были не по зубам – ну и ладно, я перескакивал теории Клаузевица... Я следовал за Пьером Безуховым и его женой Элен в их семейных неурядицах (Элен была «противная», мне она правда казалась противной) и предоставлял Толстому рассуждать в одиночестве, когда речь шла о крестьянских проблемах вечной России...

Я перескакивал, да.

И всем детям следовало бы поступать так же.

Пользуясь этой уловкой, они могут как угодно рано позволить себе наслаждаться почти всеми сокровищами, которые им якобы не по возрасту.

Если им хочется читать «Моби Дика», но трудно пробиться через мелвилловские

описания техники китобойного промысла, пусть не бросают читать, а пересказывают, пусть пересказывают целые страницы и, не беспокоясь обо всем остальном, следуют за Ахавом, как он следует за своим белым смыслом жизни и смерти! Если они хотят познакомиться с Иваном, Дмитрием и Алешей Карамазовыми и с их немислимым отцом, пусть берут и читают «Братьев Карамазовых», эта книга *для них*, даже если им придется пересказывать беседы старца Зосимы и легенду о Великом Инквизиторе.

Если они не будут сами для себя решать, что им по возрасту, а что нет, и сами выбирать, какие страницы пересказывать, их подстерегает серьезная опасность: за них это сделают другие. Вооружатся огромными ножницами идиотизма и вырежут все, что сочтут слишком «трудным» для детей. Результаты ужасающие: «Моби Дик» или «Отверженные», сведенные к изложению в 150 страниц, изувеченные, выхолощенные, скукоженные, засушенные, переписанные для детей дистрофическим языком, который принято считать единственно для них понятным! Примерно как если бы я вздумал перерисовать «Гернику» на том основании, что у Пикассо слишком много линий для двенадцати– или тринадцатилетнего глаза.

А кроме того, даже когда мы уже «большие», и даже если нам неприятно в этом признаваться, нам все равно случается «пересказывать» – по причинам, которые никого не касаются, кроме нас и книги, которую мы читаем. Случается и так, что мы себе это строго запрещаем и читаем все подряд до последнего слова, отмечая, что вот здесь автор тянет резину, а вот тут наигрывает совершенно не идущий к делу мотивчик для флейты; что в этом месте его повело на повторы, а вон в том – в идиотизм. Что бы мы в этом случае ни говорили, упрямое преодоление скуки, которое мы вменили себе в обязанность, к разряду *обязанностей* не относится: оно из числа наших читательских удовольствий.

### 3. Право не дочитывать

Есть тридцать шесть тысяч причин бросить роман, не дочитав: ощущение уже читанного, сюжет, который нас не захватывает, неприятие идей автора, стиль, вызывающий раздражение, или, наоборот, полное отсутствие авторского почерка, не искупаемое никакой причиной читать дальше... Излишне перечислять остальные тридцать пять тысяч девятьсот девяносто пять, среди которых можно, однако, назвать зубную боль, придирки начальства или душевное потрясение, отшибающее мозги.

Книга валится у нас из рук?

Пусть валится.

В конце концов, что бы ни говорил Монтескье, нельзя утешиться часом чтения по команде.

Однако среди причин, побуждающих нас прекратить чтение, одна заслуживает того, чтоб на ней задержаться: смутное чувство *поражения*. Вот я открываю книгу, читаю – и скоро чувствую, что столкнулся с чем-то, что *сильнее меня*. Я собираю в кучку нейроны, я борюсь с текстом, но без толку, я могу сколько угодно чувствовать и понимать, что эта вещь заслуживает, чтоб ее прочли, а вот не врубаюсь, и все – чую что-то «чужое», что мне не дается.

И бросаю.

Или, вернее, откладываю. Убираю книгу на полку с неопределенным намерением когда-нибудь к ней вернуться. «Петербург» Андрея Белого, Джойс со своим «Улиссом», «У подножия вулкана» Малькольма Лаури дожидались меня не один год. Есть такие, что и по сей день ждут, а какие-то из них я, возможно, никогда снова не открою. Это не трагедия, просто так сложилось. Понятие «зрелости» в области чтения – штука странная. Вплоть до какого-то возраста какие-то книги нам не по зубам. Но в отличие от хороших вин хорошие книги не стареют. Они ждут нас на полках, а стареем мы. Когда нам кажется, что мы до них «дозрели», мы беремся за них снова. И тогда одно из двух: или встреча происходит, или мы снова терпим фиаско. Может быть, мы будем делать еще попытки, может быть, нет. Но уж точно не вина Томаса Манна, что я так до сих пор и не добрался до вершины его «Волшебной горы».

Великий роман, который нам сопротивляется, не обязательно более *трудный*, чем какой-нибудь другой... Просто между ним, при всем его величии, и нами, при всей способности его «понять», на которую мы претендуем, не происходит некая химическая реакция. В один



Так что бывают и «хорошие» романы, и «плохие».

Чаще всего именно вторые первыми попадают на пути.

И, ей-богу, когда настал мой черед с ними познакомиться, они, помнится, показались мне «просто здоровскими». Мне очень повезло: надо мной не смеялись, не закатывали глаза, не ругали за глупость. Просто раскидали на моем пути кое-какие «хорошие» романы, ни в коем случае не позволяя себе запрещать мне прочее чтиво.

Вот она, мудрость.

Хорошее и плохое – на каком-то этапе мы читаем и то, и другое. Точно так же, как не отказываемся единым махом от книжек своего детства. Все перемешивается. Выныриваешь из «Войны и мира» и возвращаешься к «Зеленой библиотеке». От серии «Арлекин» (истории про прекрасных врачей и благородных медсестер) переходишь к Борису Пастернаку с его «Доктором Живаго» – тоже прекрасный врач, а Лара – медсестра, и какая благородная!

А потом в один прекрасный день перевешивает Пастернак. Мы ищем в книге писателя, ищем творческий почерк; товарищей по играм нам уже мало, мы ищем *спутников жизни*. Просто анекдота нам уже недостаточно. Пришло время, когда мы требуем от романа чего-то большего, чем мгновенное и безотлагательное удовлетворение жажды острых ощущений.

Одна из высших радостей педагога – увидеть, как ученик – при дозволенности любого чтения – сам захлопывает дверь фабрики бестселлеров и заходит отвести душу к другу Бальзаку.

## **6. Право на боваризм (заболевание, передающееся текстуальным путем)**

В общем и целом «боваризм» в этом и состоит – в исключительном и безотлагательном удовлетворении жажды острых ощущений: воображение кипит, нервы трепещут, сердце колотится, адреналин бьет ключом, вживание в образ не знает удержу, и мозг принимает (ненадолго) гусей повседневности за лебедей романтики...

Все мы поначалу читали именно так.

Упивались.

И пугали своим упоением взрослых наблюдателей, которые спешили подсунуть юному боваристу что-нибудь «высокохудожественное», провозглашая:

– Посмотри, а ведь Мопассан-то все-таки лучше, разве нет?

Спокойно, спокойно... не стоит самим поддаваться боваризму; Эмма-то, в конце концов, всего-навсего персонаж романа, задуманного и продуманного автором, поэтому из причин, посеянных Гюставом Флобером, вырастут лишь такие следствия – при всей их правдивости – какие он задумал.

Иначе говоря, если моя дочь зачитывается серией «Арлекин», она вовсе не обязана сначала изолгаться, а потом отравиться мышьяком.

Хватать ее за руку и оттащить от подобного чтения значило бы поссориться и с ней, и с собственным отрочеством. И лишит ее ни с чем не сравнимого удовольствия – самой завтра вывести на чистую воду ширпотреб, от которого она сегодня без ума.

Куда разумнее с нашей стороны поладить с собственным отрочеством; ненавидеть, презирать, отрицать или просто забывать подростка, каким мы когда-то были, – как раз подростковый симптом: стоит ли паниковать, воспринимая переходный возраст как смертельно опасную болезнь?

Лучше напомнить себе о своих первых читательских переживаниях и воздвигнуть скромный алтарь прежним читательским пристрастиям. В том числе и самым «дурацким». Их роль неопределима: они помогают нам сопереживать себе прежним, посмеиваясь над тем, чему мы прежде сопереживали! Мальчики и девочки, которые делят с нами жизнь, только выиграют от этого, мы почувствуем и к ним уважение и нежность.

И еще надо напоминать себе, что боваризм – как и некоторые другие слабости – свойственен в какой-то мере всем (замечаем-то мы его всегда в других). Нередко мы, возмущаясь, что подростки читают такую пошлятину, сами в то же время вносим свою лепту в успех какого-нибудь телегеничного писателя, которого осмеём и забудем, когда мода на него

пройдет. Чередование наших просвещенных восторгов и умудренных отречений исчерпывающим образом объясняет, как создаются литературные фавориты.

Нас не проведешь, мы видим все насквозь, и так всю жизнь знай приходим на смену самим себе, неколебимо убежденные, что «госпожа Бовари – это не я».

Эмма наверняка была того же мнения.

## 7. Право читать где попало

Шалон-на-Марне, 1971 год, зима.

Казармы артиллерийской учебной части.

На утреннем разводе рядовой второго класса Имярек (регистрационный номер 14672/1, хорошо известный нашей хозяйки) систематически вызывается добровольцем в самый непопулярный, самый бесславный наряд, обычно назначаемый в наказание и являющий собой посягательство на честь и достоинство: легендарный, унижительный, неприличный *наряд по сортиру*.

Каждое утро.

Неизменно улыбаясь. (Про себя.)

– Наряд по сортиру?

Он делает шаг вперед.

– Имярек!

Торжественно, как перед атакой, берет швабру со свисающей половой тряпкой, словно это полковое знамя, и исчезает, к великому облегчению остальных. Одиноким смельчак: никто за ним не следует. Армия в полном составе окопалась в укрытии более почетных нарядов.

Проходит час, другой... Он, должно быть, пропал без вести. Он почти забыт. О нем забывают. Однако в положенный срок он является и, шелкнув каблуками, рапортует: «В туалетах чисто, господин капрал!» Капрал забирает швабру, и глубоко в его глазах таится вопрос, который он так и не облакает в слова (уважение к человеку обязывает). Рядовой козыряет, разворачивается кругом и возвращается в строй, унося с собой свою тайну.

Эта тайна вполне материальным весом оттягивает правый карман его гимнастерки: томик в тысячу девятьсот страниц, в который «Плеяда» уместила полное собрание сочинений Николая Гоголя. Четверть часа повозить шваброй за целое утро с Гоголем... Вот уже два зимних месяца каждое утро рядовой Имярек, с удобством посиживая в тронной зале, запертой на два оборота, воспаряет высоко-высоко над армейской действительностью. Весь Гоголь! От ностальгических «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до фантазмагорических «Петербургских повестей», включая страшного «Тараса Бульбу» и черную комедию «Мертвых душ», да еще пьесы, да еще письма Гоголя, этого поразительного Тартюфа.

Ибо Гоголь – это Тартюф, который мог бы сочинить Мольера, чего рядовой Имярек так никогда бы и не понял, если б уступил другим наряд по сортиру.

Армия любит чествовать воинские подвиги. Этот отмечен лишь александрийским двустушием, нацарапанным очень высоко по чугуну сливного бачка и принадлежащим к лучшим образцам французской поэзии:

Сев на толчок, клянусь пуристу, педагогу ль:  
Он стал толчком к тому, чтоб мне  
открылся Гоголь.

(Со своей стороны, старик Клемансо – «Тигр» Клемансо, тоже солдат не из последних, – отзывался с благодарностью о хроническом запоре, не будь которого, по его словам, он так и не имел бы счастья прочесть «Мемуары» Сен-Симона.)

## 8. Право втыкаться

Я втыкаюсь, мы втыкаемся, пусть себе и они втыкаются.

Это значит, что мы позволяем себе выудить с полки первую попавшуюся книгу, открыть

ее на любой странице и воткнуться на минутку, потому что у нас в распоряжении только эта минутка и есть. В некоторые книги втыкаться удобнее, потому что они состоят из отдельных коротких текстов: полное собрание сочинений Альфонса Алле или Вуди Аллена, новеллы Кафки или Саки, «Коллажи» Жоржа Перрота, старый добрый Ларошфуко и большинство поэтов...

Вне зависимости от этого всегда можно открыть Пруста, Шекспира или «Письма» Раймонда Чандлера на любой странице, воткнуться и читать с любого места без малейшего риска разочароваться.

Если нет ни времени, ни средств, чтобы провести неделю в Венеции, зачем отказывать себе в праве заглянуть в нее на пять минут?

## 9. Право читать вслух

Я спрашиваю ее:

– Тебе читали вслух, когда ты была маленькая?

Она отвечает:

– Нет, никогда. Отец был то и дело в разъездах, а мать слишком занята.

Я спрашиваю:

– Откуда тогда у тебя такая страсть читать вслух?

Она отвечает:

– От школы.

Обрадовавшись, что хоть кто-то признает за школой хоть какую-то заслугу, я весело восклицаю:

– Ага, вот видишь!

Она говорит:

– Да нет. В школе нам *запрещали* читать вслух. Только про себя – уже тогда была такая концепция. От глаз прямо в мозг. Непосредственная передача информации. Быстро и действенно. И через каждые десять строк – тест на понимание. Культ анализа и комментария с первого дня! У большинства ребят от страха ум за разум заходил, а это еще было только начало! У меня-то ответы всегда были правильные, если хочешь знать, но потом, дома, я все перечитывала вслух.

– Зачем?

– Для волшебства. Слова, которые я произносила, начинали существовать отдельно от меня, они взаправду жили. И потом, мне казалось, это акт любви. У меня всегда было чувство, что любовь к книге приходит через просто любовь. Я укладывала кукол в кровать на мое место и читала им вслух. Случалось, так и засыпала на коврик у их ног.

Я слушаю ее... слушаю, и мне чудится, я слышу Дилана Томаса, пьяного, как само отчаяние, читающего свои стихи голосом, достойным готического собора...

Я слушаю ее, и мне чудится, я вижу Диккенса-старика, Диккенса, исхудалого и бледного, незадолго до смерти, выходящего на сцену... вижу его великую неграмотную публику, вдруг замершую, притихшую так, что слышно, как открывается книга... «Оливер Твист»... смерть Нэнси... вот сейчас, сейчас он будет читать нам про смерть Нэнси!

Я слушаю ее и слышу, как смеется до слез Кафка, читая «Превращение» Макс Броду, до которого как-то не совсем доходит... и вижу, как малютка Мэри Шелли выдает Перси и его ошеломленным приятелям щедрые порции своего «Франкенштейна»...

Я слушаю ее, и передо мной встает картина: Мартен дю Гар читает Жиду свою «Семью Тибо»... но Жид как будто не слышит... они сидят на берегу реки... Мартен дю Гар читает, но Жид смотрит не на него... его взгляд скользит вниз по течению, туда, где купаются два мальчика... само совершенство в одеждах преломленного водой света... Мартен дю Гар злится... да нет же, он прекрасно читает, и Жид все слышит... и Жид говорит ему, что, по его мнению, хорошо в прочитанном отрывке... но все-таки вот тут и вон там, может быть, стоило бы кое-что немножко переделать...

И Достоевский, который не только читал вслух, но и писал во весь голос... Достоевский, еле переводящий дух, проорав обвинительную речь против Раскольникова (или Дмитрия

Карамазова, не помню), Достоевский, спрашивающий Анну Григорьевну – жену и стенографистку: «Ну? Какое, по-твоему, будет решение присяжных? А? Ну!»

– Виновен!

И тот же Достоевский, после того как продиктовал ей речь защитника: «А теперь? А?»

– Невиновен!

Да-а-а...

Странное дело, как вывелось в наше время чтение вслух. Что сказал бы на это Достоевский? А Флобер? Нет больше права посмаковать слова во рту, прежде чем вбить их себе в голову? Нет больше слуха? И музыки нет? И слюны? И вкуса у слов больше нет? Так уж ничего и нет? А что же Флобер – не он ли орал сам себе свою «Бовари» так, что барабанные перепонки чуть не лопались? Кому и знать, как не ему, что содержание текста идет через *звучание* слов, из которого и выплавляется их смысл? Кому, как не ему, так упорно боровшемуся с неподходящей музыкой слогов, с тиранией ритма, знать, что *смысл – это то, что произносится*? Что? Немые тексты для чистого разума? Сюда, Флобер! Достоевский! Кафка! Диккенс, сюда! Великие глашатаи смысла, скорее сюда! Всколыхните своим дыханием наши книги! Нашим словам нужна плоть! Нашим книгам нужна жизнь!

Правда, безмолвие текста – это удобнее... не грозит обернуться смертью Диккенса, подкошенного одним из своих забирающих все силы публичных чтений... текст и собственная особа... и все эти слова помалкивают в тряпочку в уютной кухоньке нашего сознания... и как чувствуешь себя кем-то этаким, безмолвно плетя свои комментарии! И потом, если судишь книгу про себя, нет риска, что книга станет тебя судить... потому что, когда в деле участвует голос, книга многое говорит о своем читателе... книга говорит о нем все.

Человек, который читает вслух, раскрывается весь как есть. Если он не знает того, что читает, речь его невежественна, он жалок, и это слышно. Если он не живет тем, что читает, слова остаются мертвой буквой, и это чувствуется. Если он переполняет текст самим собой, от автора ничего не остается: цирковой трюк, и все тут, и это видно. Тот, кто читает вслух, весь как на ладони перед глазами, которые слушают.

Если он читает по-настоящему, если он опирается на знание и, не идя на поводу у своего удовольствия, сам его направляет, если его чтение – это *сопереживание* как публике, так и тексту, и автору; если он заставляет признать насущность творчества, пробуждая самую темную и неосознанную потребность понимать, – тогда книги распахиваются настезь, и толпы людей, считавших себя отлученными от чтения, устремляются вслед за ним в открытые врата.

## 10. Право молчать о прочитанном

Человек строит дома потому, что живет, а пишет книги потому, что смертен и знает это. Он живет в коллективе потому, что он – общественное животное, но читает потому, что одинок и знает это. Чтение составляет ему компанию, которая не может заменить никакую другую, но и ее никакая другая компания не заменит. Чтение не дает человеку исчерпывающего объяснения его судьбы, но сплетает прочную сеть соприкосновений между ним и жизнью. Несущественных, тайных соприкосновений, которые провозглашают парадоксальное счастье бытия, раскрывая трагическую нелепость жизни. Так что основания читать у нас такие же странные, как и основания жить. И никто не уполномочен требовать у нас отчета в таком личном деле.

Те немногие взрослые, которые давали мне читать, всегда уходили в тень, оставляя меня с книгой, и не позволяли себе выпрашивать, что я там *понял*. Вот с ними я, естественно, говорил о прочитанном. Им, живым или умершим, я дарю эти страницы.

## Об авторе

ДАНИЭЛЬ ПЕННАК родился в 1944 году в городе Касабланка (Марокко, Северная Африка). Его отец выбрал карьеру военного и поэтому часто переезжал с места на место.

Детство Пеннака прошло в разных странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Но высшее педагогическое образование Пеннак получил уже во Франции. В 1970 году он стал школьным учителем литературы во французском городе Суассон недалеко от Парижа. А вскоре переехал в Бельвиль, бедный и криминальный района Парижа, известный тем, что там живут выходцы из самых разных стран. Детективные романы о семействе Малоссен, действие который происходит как раз в Бельвиле, приносят Пеннаку мировую известность.

Книги Даниэля Пеннака переведены на 26 языков и удостоены многочисленных литературных премий в разных странах мира, в том числе премии Ренодо в 2007 году.